

Ренат Беккин

## ДВОРНИК ПИСАТЕЛЯ ХАРМСА

Я давно хотел узнать, что под занавес жизни приключилось с моим прадедом Ибрагимом Кильдеевым, но все никак руки не доходили. И вот удачный случай представился: меня уволили, а чтобы я на фирму не сильно обижался, отвалили приличную сумму. Я решил немного отдохнуть и заняться делами, которые из года в год откладывал на потом. История Ибрагима Кильдеева была одним из первых дел в этом списке.

Знал я об этом человеке не так много, но и не так мало. Был Ибрагим родом из города Касимова, или Хан-Кермана, как его называют местные татары. Его отец Шакирджан еще в конце позапрошлого века перебрался в Санкт-Петербургскую губернию и арендовал буфет на одной из железнодорожных станций по Николаевской железной дороге. Потом он взял еще пару буфетов и стал состоятельным человеком. Жил он в собственном доме то ли в Тосно, то ли в Любани, то ли в самой Луге. Фамилия у этого Шакирджана, к слову, была Девлеткильдеев, но сын его Ибрагим звался уже Кильдеевым.

В Гражданскую войну Шакирджана убили матросы-анархисты в его собственном доме. Стал ли Ибрагим свидетелем этого жестокого преступления или нет, семейное предание не сообщало.

От дяди и от мамы я слышал, что Шакирджан скопил пуд золотых монет. Все это богатство с трудом уместилось в сундучке, инкрустированном драгоценными камнями. Словом, не буфетчик, а индийский раджа! Как только большевики захватили власть в Петрограде, Шакирджан зарыл свои сокровища. Мой дядя Исмаил утверждал, что буфетчик закопал их во дворе своего дома — то ли в Любани, то ли в Тосно, то ли в Луге. От мамы я слышал другую версию: сундучок погребен на старинном татарском кладбище: то ли в Любани, то ли в Тосно, то ли в Луге. Короче, пойди поищи!

Возможно, Ибрагим отыскал эти сокровища и пустил их в дело. В самом начале 1920-х он жил в бывшей имперской столице и тор-

говал коврами. Я очень хотел, чтобы моя догадка каким-то образом подтвердилась: несносно было жить с мыслью о том, что где-то совсем рядом в сырой земле вот уже сто лет лежит целый пуд золотых монет царского времени, когда-то принадлежавший твоей семье.

Дело, которое затеял Ибрагим, по заверениям родни, было прибыльным. Сам Киров якобы покупал у Кильдеева ковер для своей квартиры на улице Красных Зорь. Потом НЭП свернули, и бизнес прадеда сошел на нет. В 1929-м или 1930-м Ибрагим стал дворником.

Прадед был человеком благочестивым и ходил в мечеть не только два раза в год в Курбан-байрам и Ураза-байрам, как большинство татар, но каждую пятницу, как это предписано учением ислама. В начале 1930-х Кильдеев даже состоял в «двадцатке» при мечети. «Двадцаткой» назывался приходской совет из наиболее уважаемых аксакалов. Они отвечали за все, что происходит в мечети и прежде всего за сохранность здания перед государством. Аксакалы эти занимали первый ряд молящихся — ближе всех к мулле.

Мама говорила, что прадеду вроде даже предлагали стать председателем этой «двадцатки», то есть главным завхозом мечети, но Кильдеев отказался. Почему? Тут можно только гадать. Время такое было, недоброе. А должность на виду, расстрельная в прямом смысле слова.

Зарплата у дворника, конечно, небольшая была, но зато давала право на жилплощадь. К тому же, Ибрагим со временем стал управдомом. Об этом одна бумажка говорит, которая у нас имеется. Там напротив слова «управдом» стоит подпись Ибрагима, простая, как у первоклассника: И. К. И хвостик в конце, похожий на сплюснутый прессом твердый знак. Управдом — это уже серьезно.

Благополучно пережив 1937-й, Кильдеев вдруг исчезает осенью 1941 года. Что с ним произошло? Был ли он арестован или погиб в блокаду? Если арестован, то за что? Никакой справки о реабилитации ни мы, ни другие родственники Ибрагима Кильдеева не получали.

Я решил разобраться в этом вопросе, отправил в архив на Шпалерной улице запрос и получил через месяц короткий ответ. Мне сообщали, что у них действительно имеется архивное уголовное дело Ибрагима Шакирджановича Кильдеева, но ознакомиться с ним у меня никак не получится, потому что оно «составляет госу-

дарственную тайну». По-видимому, в качестве моральной компенсации мне позволялось изучить «прилагавшиеся к делу материалы». Я еще в детском саду уяснил, что лучше иметь часть яблока, чем совсем ничего, и потому отправился в архив за обещанной мне долькой информации.

Много думал я о том, что это за «прилагавшиеся к делу материалы». Описать изъятых во время обыска предметов? Или какой-нибудь документ, который не представляет никакого интереса и потому открыт для родственников и исследователей?

В назначенное время я стоял перед дверью, на которой висела табличка с тремя цифрами. В небольшой комнате размером с зубоврачебный кабинет меня ждала сотрудница, строгая и сухая, как утро первого января. В комнате я увидел еще одну даму в свитере с пучком седых волос на огромной, как лошадиный зад, голове. Она строго посмотрела на меня и уткнулась в свои бумаги. Я сразу догадался, что это исследовательница. Эта седая дама мне сразу не понравилась. Она громко шмыгала носом и несколько раз кашлянула, даже не подумав прикрыть рот. Мне совсем не хотелось, чтобы меня заразили. Но выбора у меня не оставалось. Прийти в другой раз я мог только через месяц: желавших работать в архиве было много, а сидячих мест всего два. Да и будет ли вообще этот другой раз? Как утверждал классик, в России нет более сладкого времени для искателя истины, чем время от открытия до закрытия архивов. И я решил остаться.

Считая себя человеком воспитанным, я первым делом пожелал узнать имя-отчество архивной дамы, но она посмотрела на меня как на обгадившего диван щенка и сказала, что здесь не принято спрашивать такие вещи. Я пожал плечами и сел за свободный стол.

Архивная дама ушла и вскоре вышла из боковой двери со средних размеров бледно-желтой папкой в руках. Я невольно задержал дыхание, как делают те, кто ждет чуда. Неужели все-таки решили дать? Но радость моя была преждевременной. Почти все листы в деле были закрыты бумажными конвертами.

— Открывать конверты нельзя, — вежливо, но строго пояснила сухая дама.

— А что тогда можно? — спросил я.

— Можно читать протокол обыска, ордер на арест, анкету и приложение к делу в конце. — Архивная дама перевернула конверты с

их скрытым от меня содержимым, и я увидел небольшую школьную тетрадку в обложке цвета песка в мокрую погоду. — Фотографировать нельзя. Можно только делать записи. Вот, ознакомьтесь с правилами и заполните анкету.

Я порадовался, что захватил блокнот и ручку. Быстро вписал в анкету свои данные и поставил подпись. Мое желание скорее приступить к чтению дела отразилось на почерке. Но архивная дама даже не стала даже смотреть на анкету и спрятала ее в какую-то папку. Я дождался, когда сотрудница архива устроится на стуле у стены, и начал читать.

**ОРДЕР № 630**

*Сентября «5» дня 1941 г.*

Выдан сотруднику Государственной безопасности тов. Кулебякину

Производство: *ареста и обыска*

*Кильдеева Ибрагима Шакирджановича*

*Ул. Маяковского д. 11, кв. 3*

Начальник управления НКВД по ЛО

Начальник третьего спецотдела УНКВД по ЛО

Справка: *арест санкционирован зам. прокурора гор. Ленинграда тов. Грибановым*

Далее шел перечень изъятых у Ибрагима во время обыска вещей. Письма (20 шт.) на русском и татарском языке, фотокарточки (15 шт.), Коран на французском, книги на арабском (10 шт.), нагрудный знак «5 лет ВЧК-ГПУ», партийный билет на имя Якова Моисеевича Косолапова, справка из колхоза «Светлый путь» на

имя Акима Голубева, фотокарточка Наримана Нариманова с надписью: «Дорогому сыночку Ибрагиму от папы», печать трудовой артели им. Рабиндраната Тагора, фотоаппарат «Лилипут»...

Многое удивляло меня в этом списке: и документы на чужое имя, и французский перевод Корана, и фотоаппарат «Лилипут», но особенно — знак «5 лет ВЧК-ГПУ» и фотография Наримана Нариманова — единственного уцелевшего бакинского комиссара. Вернее, даже не сама фотография, а надпись на ее обороте. Что же это, выходит, Кильдеев — сын Нариманова? Чушь какая-то. Откуда он взял все эти документы? Не на помойке же нашел! Однако у меня было не так много времени, чтобы удивляться, и я продолжил изучать материалы дела.

#### АНКЕТА АРЕСТОВАННОГО

- |   |   |
|---|---|
| 1. Фамилия  | <i>Кильдеев</i>   |
| 2. Имя, отчество  | <i>Ибрагим Шакирджанович</i>                                      |
| 3. Год и место рождения   | <i>родился в 1895 году, город Ленинград</i>                       |
| 4. Постоянное место жительства до ареста  | <i>Ленинград, ул. Маяковского, д. 11, кв. 3</i>                   |
| 5. Профессия и специальность  | <i>дворник</i>  |
| 6. Последнее место работы или род занятий до ареста                                     | <i>Учреждение: домоуправление</i><br><i>Должность: управдом</i>   |
| 7. Национальность   | <i>татарин</i>  |
| 8. Гражданство (при отсутствии паспорта, удостоверяет гражданство или записано со слов) | <i>СССР</i>   |
| 9. Партийная принадлежность   | <i>а) в прошлом не состоял</i><br><i>б) в настоящее время б/п</i> |

10. Образование общее и специальное (подчеркнуть и указать что закончил) высшее, среднее, низшее	<i>нет</i>
Специальное	<i>нет</i>
11. Социальное происхождение (кем были отец и мать)	<i>отец — крестьянин-бедняк, мать — крестьянка</i>
12. Судимость (состоял под судом и следствием, где, когда, за что, приговор)	<i>не судим</i>
13. Приводы (каким органом, когда, по подозрению в каких преступлениях и по каким фамилиям)	<i>приводов не имел</i>
14. СОСТАВ СЕМЬИ	<i>Отец умер в 1919 г. Мать умерла в 1926 г. Жена Кильдеева Фатьма Дети Мухаммат (1923 г.р.), Фатих (1927 г.р.), Айша (1930 г.р.), Амина (1935 г.р.)</i>
Место для фотокарточки	<i>Отпечаток указательного пальца правой руки</i>
Личная подпись И. К.	

Я переписал все, что имелось в анкете, в свой блокнотик. Все упомянутые здесь родственники были мне известны. Старший сын Ибрагима, Мухаммат, погиб в войну, и после него остался сын Исмаил. Фатих, согласно Книге памяти, умер от голода во время бло-

кады вместе с матерью и сестрой Айшей. Младшая дочь, Амина, вышла замуж за казанского татарина по фамилии Галиуллин. Этот Галиуллин был моим дедом.

Я переворачивал лист за листом, они были укрыты от глаза большими белыми или желтыми конвертами. Я надеялся, что где-нибудь конверт не совсем плотно обнимает лист или на нем окажется прореха, и мне удастся выщепить взглядом абзац, фразу или хотя бы несколько слов. Но надежды мои не оправдались. Документы наряжал в бумажную броню мастер своего дела. Лишь края листов, примыкавшие к переплету, выглядывали кое-где, как корни окрашенных волос. Но собрать фразу по обрывкам слов было решительно невозможно. К тому же архивная дама время от времени строго поглядывала на меня, и я решил не искушать судьбу и не совать нос куда не следует.

Исследовательница за столом напротив, не переставая, шмыгала носом и кашляла. Только бы у нее не было гриппа или этой новой китайской заразы, как ее там...

Я долистал дело до конца, и увидел вновь ту самую тетрадку. На обложке присутствовали два ребенка младшего школьного возраста неопределенного пола. Один ребенок был изображен спиной, он склонился над прилавком. Другой в нижнем левом углу обложки держал в руке какую-то посудину, на которую с вожделием смотрели несколько пар кроличьих глаз. Я стал считать кроликов и насчитал их двенадцать. То, что дети — пионеры, я понял из приведенного здесь же, в левом верхнем углу, текста: «Пионер, добейся при каждом пионер-отряде, пионер-доме, лагере — образцового крольчатника. Ярославский».

Ярославский? Этот же главный богоборец страны! Вдохновитель и организатор Союза воинствующих безбожников, автор брошюр и статей на антирелигиозные темы. Оказывается, он еще и кроликами занимался. Правду говорят: одаренный человек талантлив во всем.

Внутри тетрадки на трех с половиной страницах обнаружился текст, писанный синими чернилами в дореволюционной орфографии. Наверное, именно такой почерк называют каллиграфическим. Особенно тщательно было выведено название: «Писатель и дворник». С первых слов стало понятно, что передо мной рассказ.

Я не спеша прочитал его два раза и переписал в свой блокнотик. Привожу этот рассказ ниже, за достоверность каждого слова ручаюсь.

### ПИСАТЕЛЬ И ДВОРНИК

Однажды писатель Ювачев зашел в каморку к дворнику Ибрагиму.

— Я, — говорит, — про вас рассказ сочинил. Хотите, прочту?

— Читайте, — говорит дворник, — воля ваша.

Тогда писатель встал в позу декламатора и начал читать свой рассказ вслух.

*Жил-был дворник Ибрагим. Однажды утром он проснулся, потянулся на кровати, зевнул, и у него выпал глаз.*

*— Бу берни дэ түгел, — сказал сам себе дворник на родном для него татарском языке, что означало: «это ничаго».*

*Встал дворник с постели, но тут у него выпал второй глаз. Тогда дворник всерьез огорчился.*

*— Это не дело, — сказал он, — один глаз еще туда-сюда, а без двух глаз никуда не годится, ни поесть, ни помолиться. — Сказал и принялся искать оба своих глаза.*

*Вы спросите, как же он это делал, если у него оба глаза выпали? Охотно отвечаю: руками. Недаром в народе говорят: глаза боятся, а руки делают.*

Писатель думал, что рассмешил дворника Ибрагима. Но Ибрагиму было не до смеха. Чтобы не обидеть писателя, он изобразил на лице какую-то гримасу. А писатель не понимает, спрашивает Ибрагима: «Ну как тебе мой рассказ? Понравился?»

Тогда дворник отвечает ему: «Нет, не понравился. Я бы по-другому написал».

— И как же? — спросил писатель, скорее из вежливости, чем из любопытства.

— А вот так, — сказал дворник, встал в позу декламатора и начал читать свой рассказ вслух.

*Жил-был писатель Ювачев. Однажды ему приснилось, что у него выпал зуб. Он проснулся и стал вспоминать, что*



означает этот сон, но так ничего и не вспомнил. Тогда писатель Ювачев захотел прочитать об этом в соннике. Он встал на стул, чтобы достать с полки книгу, но стул подломился под ним, и писатель упал. Падая, Ювачев сломал ногу. Он стал громко звать дворника Ибрагима на помощь. Но дворник сидел у себя в каморке, читал Эрнста Ренана и не слышал писателя.

Ювачев продолжал громко кричать, и его услышал сосед по квартире Иван Петрович Кулаков. Он спал, вернувшись с ночной смены. Писатель разбудил его, когда Иван Петрович видел во сне пышнотелую голую девицу. Девица подавала ему холодное пиво в фарфоровой кружке с императорским вензелем. Иван Петрович попытался снова уснуть и досмотреть красивый сон, но не прекращавший орать сосед не дал ему это сделать. Иван Петрович поднялся с постели и, войдя в комнату писателя без стука, хорошенько поколотил лежавшего на полу Ювачева, выбил ему передний зуб и сломал руку.

Тогда писатель закричал еще громче, и дворник Ибрагим, наконец, услышал его. Он прибежал в комнату Ювачева и спросил, что случилось. Когда писатель закончил свой рассказ о приключившейся с ним беде, дворник многозначительно сказал: «Сон в руку».

— Понравился вам рассказ? — спросил дворник.  
 — Нет, — сказал писатель, — не понравился.  
 — Ах ты, сектен<sup>1</sup>, — сказал дворник и ударил писателя метлой по голове.

Писатель упал и на всякий случай притворился мертвым. Дворник отнес его во двор и положил рядом с мусорным баком. Там писатель пролежал до вечера, пока не стемнело. Тогда он пошел домой и стал сочинять новый рассказ, который назывался «Как дворник убил писателя». О чем был этот рассказ, сказать нельзя, потому что он так и не был написан. Уви-

<sup>1</sup>Сектен (татарск.) — достал уже! (пояснение публикатора)

дев, что в комнате писателя горит свет, дворник явился к нему без стука и убил Ювачева по-настоящему.

Дворник Ибрагим был такой человек, который никогда не откладывал на завтра то, что мог сделать сегодня. Это у татар такое свойство характера — все доводить до конца, и потому они всегда находят хорошую работу.

Дочитав рассказ, я долго тер виски. Не было никакого сомнения, что один из героев этого рассказа — писатель Хармс, он же Ювачев. А может, не только герой, но и автор? Не чудо ли? Вот так история: шел выяснить судьбу прадеда, а нашел неизвестный рассказ Хармса. Кашляющая исследовательница, сидевшая напротив, больше не раздражала меня. Радость от случайного открытия вытеснила все другие эмоции. У меня вспотели ладони, а в животе, напротив, стало холодно. Я не литературовед, но какой безумец отказался бы от такой находки! Это все равно что пойти в магазин за хлебом и по дороге найти пятьдесят тысяч.

В метро я еще раз внимательно прочитал рассказ. Он понравился мне еще больше.

Дома я залез в компьютер и скачал все произведения Хармса, которые сумел отыскать, в том числе, «Записные книжки» и сборник неизданных сочинений. Я стал вводить в поиск отдельные слова и фразы из рассказа, но ничего похожего на «Писателя и дворника» не находилось. Впрочем, радоваться было рано. Вся эта архивная история казалась мне слишком красивой, чтобы быть правдой.

Самое время обратиться к специалистам. Вот многостраничная биография Хармса, нажимаю английское слово Get, и через пару минут уже листаю файл. Автор жизнеописания Хармса — профессор Швабринский — живет в Петербурге. Впрочем, что в этом удивительного. Я легко отыскал профессора в Фейсбуке и написал следующее: «Добрый день, Александр Яковлевич! Работал в архиве, нашел один текст, который возможно имеет отношение к Д. Хармсу. Хотел с Вами посоветоваться. С уважением, Марат».

Когда я вернулся из кухни с чашкой кофе, дымившейся, как залитые водой из котелка угли пионерского костра, меня уже ждал ответ профессора: «Марат, Вы можете прислать текст?» Вот это скорость! Пенсы обычно долго отвечают в соцсетях, а иногда во-

обще в упор не видят сообщений, как нечисть Хому Брута в «Вие», а тут он словно только и ждал, когда я ему напишу. Респект.

— Секунду, — сказал я, сфотографировал переписанный мною в блокнот текст рассказа и отправил Швабринскому.

Пока я пил кофе и скроллил ленту, пришло сообщение от профессора: «Интересно. Вы в Петербурге?»

Мы уговорились встретиться вечером в бистро «Лайма» на Грибоедова. Легок же на подъем этот профессор! А может, и в самом деле почувствовал запах открытия? Они такие, эти ученые: если какая-нибудь интересная штука появится, так они и со смертного одра поднимутся, лишь бы на нее хоть одним глазком взглянуть.

Швабринский оказался невысоким сутулым человеком с большими грустными и вместе с тем строгими глазами, наблюдавшими за миром из-за толстых, как в «Икарусе», стекол. Когда он читал, губы его шевелились, как у ребенка, недавно обучившегося чтению.

— Рассказ интересный, но это точно не Хармс, — тихо, но вполне уверенно сказал Швабринский. — Не совсем его стиль. Похоже скорее на пародию.

— Может, это кто-то из его друзей, коллег? — упавшим голосом произнес я. Мне не хотелось верить словам профессора.

— Может быть, — сказал Швабринский. — Мне надо будет увидеть оригинал. Вы когда-нибудь видели автографы Хармса?

— Нет.

Профессор извлек из рюкзака ноутбук, несколько минут колдовал над ним, совершая нежные движения пальцами, словно перед ним на столе лежала умиравшая от старости кошка, и, наконец, пододвинув его ко мне, сказал: «Вот смотрите, это автографы Хармса разных лет».

Я внимательно глядел на сменявшие друг друга картинки. Были тут и написанные нетвердой детской рукой послания, адресованные отцу — революционеру и устройтелю светлой жизни Ивану Павловичу Ювачеву, и черновики стихов и рассказов зрелого Хармса.

— Там, в тетрадке, в дореволюционной графике было написано, — сказал я. — Почерк каллиграфический. Не похож на этот.

— В дореволюционной графике? — профессор поскреб седую бороду. — У Хармса, конечно, есть тексты в старой графике, но все-таки свои рассказы они писал уже без «ятей» и «еров».

— А может, это все-таки его рассказ, но записанный кем-то другим? — не сдавался я.

— Наверяд ли. В любом случае, мне надо взглянуть на оригинал.

Я сообщил Швабринскому название архивного уголовного дела, и мы расстались.

А через два дня мне было уже не до Хармса и Кильдеева. Две недели я провалялся в постели, не зная, чем все это кончится. Температура 39 долго не желала опускаться ниже. Я кашлял, словно кто-то заставлял меня глотать сосульки и при этом бил в грудь мозолистой пяткой. В полуовощном состоянии меня отвезли на КТ. Семьдесят процентов поражения легких. Но толстый врач с добрыми и усталыми глазами отговорил меня ложиться в больницу. Когда он произносил свою речь, голубая маска натягивалась, и я живо представлял его мясистые губы.

— По мне, если умирать, так лучше дома, — сказал врач. — Не так тоскливо.

Я ничего не сказал, только кивнул в знак согласия. Но я все-таки не умер, хотя и был близок к смерти.

Когда способность рассуждать возвращалась ко мне, я начинал придумывать кары для седовласой тетки, которая наградила меня этой мерзкой убийственной болезнью в архиве. Не случайно она кашляла как ненормальная. Наверное, сухая дама тоже слегла. Может, она уже в могиле.

В одну из ночей, когда сложно установить, спишь ты или находишься в полном сознании, мне привиделся сон. Я поднимался по широкой, плохо освещенной лестнице и оказывался в квартире с длинным темным коридором. Не растерявшись в незнакомой обстановке, я толкнул ближайшую ко мне дверь. В комнате у печки на табурете, сгорбившись, сидел какой-то высокий и худой человек. Он бросил в огонь несколько листов бумаги и потянулся за новыми, лежавшими у его ног.

— Чего это вы тут такое жжете? — спросил я его голосом вахтера.

Человек у печки неспешно повернул ко мне свое лицо, и я сразу признал в нем Хармса.

— Так, ерунду всякую, — с неохотой отвечал он и вновь вернулся к своему занятию.

Я подошел ближе, поднял один из листов и увидел, что это начало рассказа. Рассказ назывался: «Каюк». Рядом с названием

имелось еще одно слово, но оно было густо замалевано, и только по уцелевшим фрагментам можно было предположить, что первой буквой была большая «п», а последней — маленькая «ц». Ниже было указано имя автора: Кильдеев.

— Зачем вы уничтожаете это?! — закричал я. — Кильдеев — замечательный писатель!

— Говно твой Кильдеев, а не писатель, — сказал Хармс и нехорошо засмеялся.

Через две недели я уже мог выходить из дома. Сил хватало только на то, чтобы доковылять до парка, начинавшегося в двух сотнях метров от моей парадной. Я сел на скамейку и смотрел, как люди спешат по своим делам, здоровые и сильные, как греческие боги. Я скроллил ленты в соцсетях. Писать ничего не хотелось, отвечать на письма и сообщения — тоже. Прошла еще неделя, прежде чем я смог взять в руки книгу.

Когда я уже начал выздоравливать и был совершенно не опасен для окружающих, к нам в гости зашел мой дядя Исмаил. Имя его уже звучало на страницах моего повествования: это внук Ибрагима Кильдеева по линии старшего сына Мухаммента. Я рассказал дяде Исмаилу о своих поисках и спросил, не осталось ли у них дома чего-нибудь от Ибрагима. Он неторопливо опустошил чашку, вытер губы и только тогда заговорил. Меня всегда удивляли люди, которые умеют думать, пока пьют чай. Дядя сказал, что когда-то давно видел «тетрадожку с цифрами», но она едва ли имеет отношение к Кильдееву.

— Может, и не имеет, — сказал я, но тетрадожку все-таки попросил найти.

Прошла еще неделя, которую я потратил на то, чтобы вернуть отобранные болезнью силы. Однажды вечером, когда я валялся на кровати и читал книгу Швабринского, мне позвонил сам профессор.

— Марат, прошу прощения за долгое молчание. Только вчера добрался до архива. Прочитал рассказ. Как я и говорил вам, это не Хармс.

— Александр Яковлевич, вы в этом уверены?

— Абсолютно. Во-первых, это не почерк Хармса. Это сто процентов. Кроме того, как я уже говорил, Хармс не писал свои рассказы в дореволюционной орфографии. И, наконец, стиль. Возможно, кто-то пытался писать под Хармса.

— А кто же тогда автор?

— Не знаю. Очевидно, человек, который был хорошо знаком с Даниилом Ивановичем и его творчеством... Может этот, чье дело я смотрел?.. Как его...

— Но он же дворник.

— Ну... тогда не знаю.

Поговорив с профессором, я расстроился. Открытие неизвестного произведения Даниила Хармса не состоялось. Не вышло из меня литературного Генриха Шлимана. Но кто тогда написал этот рассказ? И каким образом он попал к моему прадеду в его уголовное дело?.. Неужели сам Ибрагим его написал? Что за чушь! Но почему нельзя предположить, что Кильдеев переписал рассказ, быть может, со слов самого Хармса? По памяти, некоторое время спустя. Поэтому Швабринскому и показалось, что вроде Хармс, а вроде и не он. Я обрадовался этой догадке, но тут же спросил себя: «Но зачем Кильдееву понадобился рассказ Хармса?» Ответа у меня не было.

Я уже говорил, что в нашем семейном архиве имелся один документ. Эта была полуистлевшая слепая бумажка с печатью жилищно-арендного кооперативного товарищества или коротко говоря: жакта. На ней сохранился автограф Кильдеева. Всего две буквы: И. К. Этого было явно недостаточно, чтобы проводить почерковедческую экспертизу. Я повертел бумажку перед носом и только сейчас обратил внимание на адрес дома, где Кильдеев работал управдомом: Надеждинская улица. На Надеждинской жил Хармс. Неужели это тот же самый дом?! Вот досада: на бумажке жакта на месте номера дома была дырка. Я принялся листать электронные версии «Всего Ленинграда» за 1930-е, но никакого Кильдеева там не нашел, ни на Надеждинской, ни на какой другой улице. Тупик.

Источников, на которые я мог опереться, у меня больше не оставалось. Кстати, что там дядя Исмаил о «тетрадке с цифрами» говорил? Или это мне в бреду привиделось? Я позвонил дяде, и он подтвердил, что действительно говорил о тетрадке. Тогда я попросил его как можно скорее найти этот документ. У меня в распоряжении будет, по крайней мере, автограф Кильдеева, если это, конечно, его тетрадка. Я стал звонить дяде Исмаилу каждые два дня, пока не достал его до самых печенок. Он отправился на дачу и там среди сваленного на чердаке хлама отыскал то, что мне было нужно.

В тот же вечер клеенчатая тетрадка в клетку, 48 листов, лежала передо мной. Выглядела она на первый взгляд неплохо. Всего один загнутый угол, никаких пятен на обложке. Но вместо текста шли сплошные цифры: 13/8/7/4, 10/8/13/3, 2/20/5/1 и так на всю первую страницу. Только в правом верхнем углу карандашом была выведена едва приметная надпись на арабском. На следующей странице то же самое: четыре цифры, отделенные друг от друга слешем, запятая, снова четыре цифры... Я поспешно переворачивал пожелтевшие листы, рассчитывая увидеть что-нибудь кроме цифр, но напрасно: словно сошедший с ума математик пытался известить бумагу бессмысленными записями.

Я отложил тетрадь и поехал на Торжковский рынок за бараниной. В двадцать первом трамвае рядом со мной сидел лохматый парень. Он теребил свой телефон и все не мог успокоиться, пока не дозвонился до кого-то.

— Ты че шифруешься? — властно спросил лохматый своего собеседника неприятным шепелявым голосом.

Я едва не подпрыгнул на своем сиденье. Ну, конечно! Это же не просто цифры, это шифр!

Но на обратном пути я засомневался: а зачем понадобилось Ибрагиму шифровать свои записи? Или, может, это все-таки не его тетрадка? В любом случае, надо разобраться и попробовать прочитывать, что там скрыто.

Я стал изучать, какие бывают шифры. В те годы, когда жил Ибрагим, обычные люди, если они не были шпионами, либо использовали книжный шифр, либо сами придумывали свою собственную систему знаков для каждой буквы и цифры.

В тетрадке скорее всего применялся книжный шифр. Ключом к нему служила какая-нибудь книга, доступная автору зашифрованного послания и его адресату. Каждая буква пряталась за четырьмя цифрами, написанными через косую черту. Первая строчка, допустим, означала номер страницы, вторая — номер строки, третья — расположение буквы в этой строчке. А четвертая... Что означала четвертая цифра? Может, вторая цифра — это абзац? Соответственно, третья — строка, а четвертая — буква в строке! Но что это за книга?

С чашкой кофе, пахнувшим чинариками из пепельницы, я расхаживал по комнате. Что мог читать Ибрагим? Может, это вообще

какая-нибудь татарская или арабская книжка, которая была у него еще с дореволюционных времен? А если это вообще не Ибрагима тетрадка? В таком случае бесполезно чертыхаться. Поэтому я решил не отбрасывать гипотезу о том, что сам Ибрагим рисовал эти цифры.

Глаза мои гуляли по страницам тетрадки, пока снова не наткнулись на загадочную надпись на арабском на первой странице. Может, за этой вязью скрыто название книги? Ну конечно! Как же все-таки эта заразная болезнь влияет на соображаловку. Раньше эта мысль сразу бы пришла мне в голову.

Я сфотографировал карандашную фразу и отправил картинку Гарику. Он арабист, учился на восточном факультете. Гарик недолго ломал голову: «Никто, кроме знающих и мыслящих, не постигает секрета этого прекрасного творения». Это из Корана».

Вечером Гарик сидел у меня. Я рассказал ему о своей догадке насчет шифра. Гарик про книжные шифры тоже слышал и пообещал мне, что загадку эту мы непременно разгадаем.

Работали мы так. Я диктовал Гарику цифры, а он быстро листал Коран и делал выписки. Довольно скоро мы поняли, что первая и вторая цифры — это не номер страницы и строчки.

— Представь себе, сколько изданий Корана существует. Какой был у твоего прадеда? Это же невозможно определить.

— А как же тогда мы сможем расшифровать текст? — в отчаянии спросил я.

— Не дрейфь. Есть одна мыслишка. Если это Коран вообще, то тогда первая цифра — это номер суры, вторая — номер айата, то есть, стиха, третья... Третья — это номер слова. А четвертая... четвертая — номер буквы в слове. Видишь, они все короткие, цифры в четвертом ряду.

— Гарик, ты гений!

Мы прошли половину страницы, когда Гарик остановился и покачал головой.

— Фигня какая-то получается. Похоже, Коран как ключ не подходит.

Не подходит... Но для чего тогда Ибрагим или другой человек, шифровавший свой текст, написал эти слова: «Никто, кроме знающих и мыслящих, не постигает секрета этого прекрасного творения»? Для чего здесь коранический айат? Для одной лишь



красоты? Наверняка адресат этого текста прекрасно знал книгу, послужившую ключом для шифра. А другим знать об этом не следовало. Поэтому нет ничего удивительного, что мы не можем расшифровать этот текст.

Гарик ушел. Он позвонил поздно вечером. Голос его был бодр, как у охотника, выследившего дичь.

— Слушай, а когда этот шифр был создан? — спросил он.

— Точно не скажу.

— Ну хотя бы приблизительно.

— В 1930-х, наверное, судя по тетрадке.

— Знаешь что, пришли-ка мне фотку всей первой страницы. Мы с тобой, похоже, по неправильному пути пошли. После выхода каирского издания номера айатов в Коране стали писать по-другому. Если у тебя есть перевод Крачковского, посмотри: там номера айатов и по старой системе, и по новой приводятся. Я и подумал, что в том Коране, который был ключом к шифру, использовалась старая система Флюгеля. Таким образом, вторая цифра должна означать другой номер айата по старым изданиям.

— Гарик, ты гений, — закричал я.

Неужели разгадка близка? Мне вдруг стало не по себе. Радость сменилась тревогой. А вдруг в этом документе обнаружится что-нибудь ужасное о Кильдееве, и я пожалею о том, что взялся за это дело. Не зря покойный мой отец любил говорить: «Не лезь в бутылку!» А я вот полез.

Но пугался я напрасно. Когда Гарик позвонил мне в очередной раз, голос его был уже не таким бодрым.

— Нет, ничего не получается, сорри, — сказал он. — Это не Коран. Вернее, это может быть Коран, но конкретное издание, где первая цифра означает номер страницы, вторая — абзац, третья — строку, а четвертая — соответственно, букву. Но если ты не знаешь, какое издание было у твоего прадеда, то даже не стоит мучиться. А может, это вообще не Коран.

Как же не Коран! А что тогда? Какую еще книгу в качестве ключа мог использовать Ибрагим?.. Стоп! Я бросился за блокнотом, с которым ходил в архив. Ну вот же: «Письма (20 шт.) на русском и татарском языке, фотокарточки (15 шт.), Коран на французском...»

Перевод Корана на французский. Но не мог же ленинградский дворник Ибрагим использовать в качестве ключа к шифру фран-

пузскую книгу! А кто сказал, что это сам Кильдеев написал шифр? Может, он только хранил у себя эту тетрадку, а зашифровал текст кто-то другой, более образованный?

К счастью, переводов Корана на французский оказалось не так много: Альбера де Бибирштейна-Казимирского и Эдуарда Монте. Последний был сделан в 1925, и потому навряд ли прадед или тот, кому принадлежала тетрадь, смог каким-либо образом заполучить его в свою библиотеку. Оставался Казимирский. Несколько изданий этого перевода встречалось в свободном доступе. Каким из них мог воспользоваться создатель шифра? Наверное, самым поздним. Это 1869 год.

Некоторое время я гадал, какой принцип шифрования был выбран: по номеру суры или по номеру страницы. Я решил попробовать оба, и о чудо — мне удалось распознать первое слово: «journal» (журнал или дневник). Французские слова стали возникать перед моими глазами, как земля перед каравеллами Колумба. Это, как я довольно скоро убедился, был действительно дневник. Даты в нем обозначались словами.

Неделю просидел я над загадочной тетрадкой: только пил, ел и выходил в магазин. Я чувствовал себя участником игры «Зарница», которому старшие ребята поручили расшифровать донесение противника.

Интересно, кто автор этого сочинения? Уж точно не Ибрагим. Откуда же у него эта штука?.. Да очень просто. На помойку народ разные вещи относил. Всякое имущество, в котором не находили полезных для себя свойств. Книги и записи на иностранном языке вполне относились к этой категории. А прадед мог подобрать тетрадку для самокруток или какой другой надобности и отнести к себе в дворницкую. Не успел я порадоваться своей догадке, как тут же сам себе возразил: но почему тогда тетрадка осталась нетронутой? Страницы пронумерованы. Да и хранилась эта тетрадка, судя по всему, как зеница ока, раз уцелела и дожила до двадцать первого века.

Часто в дневнике упоминался некий Mejnoune. Что еще за Меджнун? Какой-нибудь малоизвестный поэт-декадент, прозванный так за свои любовные стихи, посвященные знойной восточной красавице?

Срочно нужен был перевод текста. К счастью, я знал, к кому обратиться — к Лидке. Она дипломированная переводчица с фран-

цузского. Работает в издательстве, которое печатает зарубежную классику. Лидка рукописи Вольтера с листа читает, так что этот дневник для нее — как семечки.

Лидка полистала мои записи.

— Да, думаю, справлюсь, — сказала она. — Позвони через пару недель.

— А во сколько это мне выльется?

— Как обычно.

«Как обычно» на языке Лидки означало двести пятьдесят рублей за 1800 знаков. Это не так уж дешево, но зато я мог быть уверен не только в каждом слове, но и в каждом знаке препинания.

Через полмесяца я набрал Лидку. За это время мне немного удалось узнать о Кильдееве. Но одна деталь показалась мне любопытной. Дядя Исмаил сообщил, что его покойный отец Мухаммат перед тем, как уйти на фронт, что-то говорил об этой тетрадке жене, но вот что именно, она припомнить не могла. А сейчас уже и не спросишь: Алия-апа умерла десять лет назад. Дядя Исмаил слова своей матери запомнил и на всякий случай тетрадку сохранил.

Лидка удивила меня радостным тоном. Нечасто с ней это бывает.

— Не поверишь, как раз собиралась тебе звонить, — сказала она. — Очень интересный текст. Одно упоминание Хармса чего стоит.

— Хармса? Ты уверена?

— Абсолютно. Он там много раз упоминается. Но не как Хармс, а как Меджнун.

— Почему ты решила, что Хармс и Меджнун — одно лицо?

— Когда начнешь читать, сам все поймешь. Там и отец Хармса Иван Павлович Ювачев упоминается. И жена Хармса — Марина, и многие другие.

— Ничего себе! А кто автор дневника? Это можно понять из текста?

— Как кто? Ибрагим Кильдеев.

— Ты уверена?!

— Абсолютно. Там несколько раз упоминается, как к нему Хармс обращается. В общем, прочтешь и сам все поймешь. Приходи за своей тетрадкой.

Я не пришел, я прибежал. Нет, даже не прибежал, а прилетел.

— Я тебе на почту файл отправила, — сказала Лидка. — Приятно было читать. Чистый красивый язык. Не Стендаль, конечно, но человек, уверенно владеющий пером.

— Спасибо, — кивнул я. — странно, конечно. Получается, сидит дворник у себя в каморке, попивает чай и пописывает в свободное от работы время дневник на чистейшем французском. А потом зачем-то шифрует его, используя перевод Корана, изданный за шестьдесят лет до этого! Что за фигня! Слово это не реальный человек, а персонаж одного из рассказов Хармса.

— Не знаю. Значит, обстоятельства так сложились, что он стал дворником. Но у автора дневника были хорошие учителя.

Я пожал плечами.

— Да, вот еще, — медленно произнесла Лида, когда я уже надевал кроссовки в прихожей. — Ты правильно расшифровал все имена и фамилии?

— Думаю, да. Я потом еще раз прошелся по всему тексту и все сверил, — сказал я, поднимая голову. — А что?

— Да так, просто показалось, что я где-то уже встречала одну фамилию.

— Какую? — Я бросил возиться со шнурками, и выпрямился.

— Шварца.

— Неудивительно: распространенная фамилия. Среди немцев и евреев полно Шварцев.

— Может быть...

Я начал читать присланный Лидкой текст, едва вышел за порог ее квартиры, в лифте, а закончил на скамейке, в парке у дома. С моей стороны было бы непросительным эгоизмом не поделиться с читателем прочитанным.

ДНЕВНИК [ИБРАГИМА КИЛЬДЕЕВА]

*Перевод с французского Лидии Карамышевой*

Все, что будет написано в этой тетрадке — не более чем плод фантазии автора и создано исключительно для упражнений во французском языке. Любые совпадения с реальными лицами и событиями случайны и не должны вводить в заблуждение читающего эти строки.

**1931. 7 ноября.** Все празднуют кругом, а меня трясет как в лихорадке. Словно это было вчера, а не двенадцать лет назад.

Мы только приступили к ночной молитве, когда раздался стук в дверь. Отец продолжал молиться, словно ничего не слышал. Но не слышать этого было нельзя. Незваные гости не только стучали, но и кричали пьяными голосами, которые врываются в залу и мешали нам сосредоточиться на разговоре с Всевышним. Я глядел на Сафу, тот — на меня, но прервать молитву без разрешения отца мы не смели. Айша и Рауза заплакали, и мама увела их. Мы остались в зале втроем.

Отец как будто услышал, что мы с братом замешкались, и повернулся к нам. Он ничего не сказал, но по взгляду его мы поняли, что отец очень недоволен нами. Мы с Сафой продолжили молитву, но язык не слушался меня. Словно первый раз в жизни, я повторял много раз прежде звучавшие в моих ушах и в моем сердце слова. Мы не успели закончить молитвы. Они явились раньше. Вынесли дверь и ворвались к нам на второй этаж.

Их было пятеро. Пять расхристанных матросов. Бескозырки набекрень, мятые брюки клеш, несвежие тельняшки, у некоторых — с прорехами. Соленый мерзкий запах. Запах табака и немытого тела, хлебного вина и злости, кислятины и смерти.

— Эй вы, оглохли, что ли?! — заорал один из пришедших, коротышка с лицом ярого кокаиниста.

Отец медленно поднялся, словно находился в одном из своих ресторанов и к нему в неурочный час явились нетрезвые клиенты.

— Простите, с кем имею честь?

— Честь, — передразнил отца коротышка. — Честь отменили декретом революционного командования! Понял? Ты сам кто бу-

дешь такой? Буржуй? — Коротышка тыкал своим коротким пальцем отцу в живот.

— Нет, не буржуй, — все так же спокойно отвечал отец.

— А кто?

— Трудовой человек.

— Трудово-ой? А дом этот чей?

— Мой.

— У трудового человека такого дома быть не может, — заметил другой матрос. — Определенно: буржуи.

Они принялись расхаживать по дому и отворять все двери и шкафы. Мама шепнула мне по-татарски, чтобы я тотчас бежал к Усмановым, а она пока отвлечет непрошенных гостей. Мне удалось незамеченным выскользнуть из дома.

То, что произошло потом, я знаю лишь по словам мамы.

Отец наблюдал, как матросы ходят по дому и запускают свои пальцы в наши вещи. Его, казалось, нисколько не огорчило, что блюдо с императорским вензелем было брошено на пол и разбито. Но на беду этой пьяной сволочи зачем-то понадобился Коран, лежавший на столе в кабинете отца. Коротышка схватил его и принялся листать, корча при этом рожи.

Отец переминался с ноги на ногу, сжимая руки за спиной. Коротышке скоро наскучило возиться с книгой, и он швырнул ее на пол. Отец бросился, чтобы поднять Коран, но коротышка не дал ему это сделать. Он наступил на книгу ногой. Отец нагнулся и попытался аккуратно отодвинуть ногу коротышки. Тот отступил, но лишь для того, чтобы ударить отца ногой в лицо. Он упал, но тут же поднялся и съездил коротышке по морде. Удар сбил матроса с ног. Тогда один из бандитов достал свой маузер и несколько раз выстрелил в отца на глазах у мамы и Сафы. К счастью, девочки не видели этого: мама успела укрыть их в погребке еще до того, как эти мерзавцы ворвались в дом.

Вот что рассказала мне мама.

Когда все это случилось, я был уже у Усмановых. Добежал я туда минут за десять. Они тоже молились. Дядя Шамиль прервал молитву и снарядил со мной двоих своих сыновей: Али и Фатиха. Али он дал револьвер, а Фатиху — свое охотничье ружье. Дядя Шамиль был знатным охотником. Однажды отец пошел с ним и случайно застрелил лебедя. Целился-то он в утку, а попал в лебедя.

«Это к несчастью», — сказала тогда мама.

Мы застigli этих мерзавцев на выходе из нашего дома. Они тащили наш большой деревянный рундук и мешки, набитые вещами. Завидев нас, бандиты побросали награбленное и затеяли стрельбу. Мы тоже ответили огнем. Али был сбит с ног пулей. Я оттащил его в сторону, а Фатих прикрывал нас. Он оказался опытным стрелком: ему удалось подстрелить сразу двоих. Бандиты не ожидали такого расклада. Оставив награбленное, они разбежались. Мы не стали преследовать их. Я ведь тогда не знал еще, что они убили отца. Думал, нас просто ограбили. Иначе я бы действовал решительнее и не позволил убийцам уйти живыми. Мы с Фатихом отнесли Али в дом. Слава Аллаху, его рана оказалась не опасной.

В доме я застал маму над телом отца. Она как будто постарела на десять лет за эти сорок или пятьдесят минут.

— Запомни этот день сынок, — чужим, незнакомым голосом сказала мне мама.

**1931. 8 ноября.** Застав убитую горем маму возле мертвого отца, я достаточно скоро взял себя в руки. Вместе с Фатихом мы вышли из дома.

Я надеялся, что эти шакалы вернутся, чтобы забрать тела своих товарищей. Но я ошибся: оба матроса продолжали лежать там, где их настигла пуля Фатиха. Одним из них был коротышка. В кармане его бушлата я нашел мандат, выданный одной из анархистских организаций Петрограда. Коротышку звали Владимиром Макаровым. В другом кармане оказался бумажный фунтик с каким-то порошком.

— Марафет, — уверенно сказал Фатих.

Я засунул фунтик обратно в карман мертвеца, а маузер, который сжимал в руке коротышка, взял себе.

Мы приблизились к другому матросу.

— Этот еще живой, кажется, — сказал Фатих.

Мы перевернули матроса на спину. Пуля угодила ему в живот, и он должен был испытывать жуткую боль. Но бандит крепко сжимал зубы, не желая, по-видимому, выдать себя.

— Эй, ты! — Я приставил маузер к его лбу.

Лежавший медленно, как разбуженный посреди ночи больной, открыл глаза. Поняв, что ему недолго осталось, я потребовал назвать имена и фамилии всех участников их банды. Он молчал.

— Говори, если не хочешь быть заживо сожранным собаками. Тут их много бродит! — закричал я и приставил револьвер ко лбу лежавшего матроса.

Захлебываясь кровью, он стал выдавливать из себя имена своих товарищей. Первым назвал Макарова, затем остальных, включая себя. Фамилия его была Луков.

Я не знал, что делать с этим Луковым. Пристрелить или дать умереть своей смертью? Фатих словно угадал мои мысли.

— Пусть сам помирает. Но надо убрать их, — сказал он. — А то утром явятся товарищи и обвинят нас в убийстве.

Мы подняли коротышку: я — за ноги, Фатих — за руки, и отнесли его во двор нашего дома. Земля еще не успела промерзнуть, и я довольно скоро вырыл яму. Мы опустили туда коротышку, а затем вернулись за Луковым. Пока шли, я рассуждал, как с ним поступить. Не хоронить же его живым, а убить незащитного раненого рука не поднималась. Вопрос решился сам собой: когда мы подошли, Луков был уже мертв. Он лег в землю рядом с Макаровым.

Я не мог тогда объяснить самому себе, зачем мы так долго возились с этими мерзавцами. Лишь позднее я понял, что мне просто хотелось отодвинуть тот момент, когда я войду в дом, где теперь лежал мертвый отец. Мне было невыносимо от одной мысли, что его больше нет. Я корил себя за то, что послушался маму и побежал к Усмановым. Если бы я остался, быть может, мне удалось бы убежать отца от гибели, пусть и ценой собственной жизни.

Когда мы возились с Луковым во дворе дома, появился дядя Шамиль, а с ним — еще трое мужчин-татар. Кто-то был с револьвером, кто-то — с ружьем. Я спросил, не встречались ли им по дороге трое матросов. Они ответили, что никого не видели.

Все, кроме Фатиха, ушли. Фатих же со своим ружьем остался с нами до утра — на случай, если матросы или какие-нибудь другие «товарищи» нагрянут снова.

Той ночью в нашем доме никто, кроме моих сестер, которым мама ничего не сказала о случившемся, не спал.

Мы похоронили отца после полудня на нашем кладбище. Так что за одни сутки мне пришлось предать земле сразу троих: моего несчастного родителя и двух его убийц.

В тот же вечер, едва стемнело, мы покинули Лугу, а вскоре — и Россию. Часть золота и других ценных вещей мы взяли с собой,



часть — закопали с братом в надежном месте. Эстония находилась рядом, но путь оттуда обратно в Лугу занял у меня больше трех лет.

**1931. 9 ноября.** Вскоре после своего возвращения в Совдепию я отправился в Лугу. Я приехал туда инкогнито. Мне совершенно не хотелось, чтобы меня узнали. О том, что мы покинули город с приходом красных, знали многие. Все-таки маленький городок. Приехал я ближе к вечеру с накладными усами и бородой, которые не раз выручали меня во время войны. В нашем доме располагалось какое-то совдеповское учреждение. Я постоял некоторое время перед дверью и вернулся в Петроград. Вернулся не с пустыми руками: клад наш, к счастью, оказался нетронутым.

Начальный капитал у меня, благодаря покойному отцу, имелся. Я организовал торговлю коврами. Арендывал помещение на Невском. Ездил много по стране по делам коммерции и не только.

Устроив свои дела и наладив торговлю, я занялся поиском. В адресном столе предъявил список с фамилиями. Я думал, что кто-то из банды Макарова наверняка осел в Петрограде. Мне выдали адрес одного из матросов: Алексея Пономарева.

На следующий день нанятый мною беспризорник Колька свел знакомство с мальчишками, игравшими во дворе дома, где жил Пономарев. Я представился Кольке сотрудником ОГПУ Николаем Николаевичем и показал значок «5 лет ВЧК-ГПУ». Почему именно Николаем Николаевичем? Людям всегда приятнее иметь дело с тезкой, чем с обладателем другого имени.

Значок этот я хранил как зеницу ока. Он был фальшивый, но изготовил его мастер своего дела, и выглядел значок как настоящий. Колька сначала испугался, но я заверил его, что если он все сделает, как я скажу, и будет держать язык за зубами, то получит хорошее вознаграждение. А если проболтается — достану из-под земли: руки у нас длинные.

Колька пересказал мальчишкам придуманную мною легенду, что его «папаша» устроился на фабрику «Скороход» и потому он, чтобы не сидеть один дома, где дрянные соседи, прогуливается неподалеку. Вот забрел в этот двор и решил тут задержаться. Мальчишки поверили, и Колька вскоре стал среди них своим.

Через несколько дней Колька уже знал все или почти все о Пономареве. Он точно указывал время, когда тот выходил утром

на службу и когда возвращался домой. У Пономарева имелись жена и сын-школьник. Они занимали одну комнату в квартире на третьем этаже.

Но прежде чем действовать дальше, я должен был убедиться, что Пономарев и тот матрос, который участвовал в убийстве отца, — одно и то же лицо. Пришлось опять прибегнуть к маскараду, как и при общении с Колькой. Я нацепил усы и бороду, надел пиджак. У дома я был за десять минут до того часа, когда Пономарев обычно отправлялся на службу. Сел на скамейку и стал читать газету. Я сразу понял, что это он: в серой толстовке и брюках из грубого сукна. Колька дал мне точное описание.

Я подождал, когда Пономарев выйдет со двора, и последовал за ним. Обогнал уже на проспекте, встал у него на пути и, отогнув лацкан пиджака — ровно настолько, чтобы он успел разглядеть значок, — молча кивнул в сторону. Забавно было наблюдать, как злобный волчий взгляд сменился испуганным, заячьим. Пономарев послушно последовал за мной. Я не оборачивался, потому что ни на секунду не сомневался, что этот субчик бредет за мной, как крыса за гамельнским крысоловом. Я дошел до сквера, сел на скамейку и указал Пономареву место рядом.

— Алексей Михайлович, как вы думаете, чего ради мне пришлось побеспокоить вас? — произнес я мирным тоном, но при этом строго глядя ему в глаза.

Он заморгал.

— Не могу знать.

— А если подумать?

Он бросил на меня очередной испуганный взгляд, а я лишь кивнул, словно поймал его мысль.

— Но я здесь ни при чем, это все Максимов устроил! — залепетал Пономарев. — Я же его подчиненный.

— Вот видите, вы уже понимаете, что совершили ошибку, — сказал я. — Теперь дело за малым: исправить ее. Если вы, конечно, хотите этого.

— Хочу, конечно, хочу! — живо отозвался Пономарев.

— Вот и славно. В таком случае, жду вас сегодня в девять вечера там, где кончается Татарское кладбище и начинается Холерное.

Место это находилось недалеко от дома Пономарева. Там можно было спокойно поговорить, не привлекая внимания.

— И еще, — сказал я напоследок, — не вздумайте никому рассказывать о нашей встрече. Даже жене и сыну. Вы меня поняли?

— Конечно-конечно! — закивал тот.

После этой встречи у меня не осталось никаких сомнений: это был один из убийц отца.

**1931. 10 ноября.** На месте я был за полчаса до назначенного времени. Мне был знаком здесь каждый вершок, но я должен был удостовериться, что нашей с Пономаревым встрече никто и ничто не помешает.

На самом кладбище, недалеко от главного входа стоял домик сторожа. Я давно знал старика Карима и его семью. Но меньше всего мне сейчас хотелось встретиться с ним. Поэтому я назначил Пономареву встречу не на самом кладбище, а вблизи от него, у дальних могил. Даже если сторож увидит нас, у меня будет время, чтобы скрыться.

Находясь вдали от России, я мечтал добраться до убийц отца и жестоко поквитаться с ними. И вот теперь я вдруг понял, что не смогу просто так взять и хладнокровно прикончить одного из них. Как он был жалок во время нашего разговора. Но зачем тогда я проделал полный опасностей путь через границу? Разве не для того, чтобы наказать тех, кто принес столько горя нашей семье? В войну мне приходилось стрелять в людей, но это в войну. Мог ли этот Пономарев за несколько лет измениться, стать другим?

Я решил, что сначала поговорю с ним, открою, кто я на самом деле (не все, конечно), и, если он покается, отпущу его с миром.

Вдали обозначилась фигура мужчины среднего роста. Шел он неуверенно, то и дело оглядываясь. Когда он приблизился к назначенному месту, я показался из темноты.

— Добрый вечер, — сказал Пономарев.

Я в ответ только кивнул.

— А почему именно здесь? — спросил он.

— Здесь тихо и спокойно можно поговорить, не привлекая внимания.

Ответ этот, похоже, немного его успокоил.

— Идите! — сказал я.

Пономарев продолжал стоять, как привязанный ишак.

Я махнул рукой и вошел на кладбище. Я шел мимо могил, и мне не нужно было глядеть на камни, чтобы сказать, кто здесь по-

гребен. Пономарев послушно брел за мной. Не доходя до речки, я обернулся, дождался, когда он подойдет ближе, и спросил:

— Пономарев, вы помните, где и как вы отметили 7 ноября 1919 года?

— Вы позвали меня ночью на кладбище, чтобы узнать это? — спросил он и даже попытался улыбнуться, но улыбка так и умерла, не появившись на свет.

— Вопросы, Алексей Михайлович, позвольте, буду задавать я. Отвечайте.

Он задумался и тут же испугался своих воспоминаний. Я понял это по тому, как дрогнули его губы и потух взгляд. Я хорошо знал такой взгляд и научился безошибочно определять его. Человек, который хоть раз убивал себе подобного, глядит по-иному, чем тот, кто ни разу не проливал чужой крови.

— Так как вы провели этот день? Не припоминаете?

— Я был в Луге, — сглотнув слюну, медленно заговорил Пономарев. — Мы только взяли город и отмечали годовщину революции и нашу победу.

— И как же вы ее отмечали?

— Ну как... выпили, конечно.

— И все?

Меня уже начинала порядком раздражать эта нелепая игра с маскарадом, которую я сам же и затеял.

— Может, это поможет вам лучше вспомнить. — Я стянул с себя накладные бороду и усы.

Пономарев открыл рот, но так ничего и не произнес.

— Узнал?

— Н-нет.

— Хорошо, я помогу тебе. Помнишь погром, который ты и твои дружки устроили в ночь с 7 на 8 ноября в одном татарском доме? Помнишь отца четырех детей, которого вы убили на глазах его жены и сына? — Я наступал на него, а он пятился назад, пока не уперся спиной в один из памятников. — Ну же! Отвечай!

— Это не я, это Макаров! — закричал Пономарев. — И Караваев! Это они стреляли!

— Не ори! Где сейчас этот Караваев?

— Он погиб... в войну. В Крыму.

— Ты в этом уверен?

— Да. Я видел это своими глазами.

Когда я оказался на расстоянии вытянутой руки от Пономарева, он издал какой-то мерзкий птичий крик и бросился на меня. Ударом я сбил его с ног. Он отлетел в сторону и ударился головой о большой камень, возвышавшейся над могилой купца Хабибулли-на. Это один из самых массивных памятников на кладбище.

Я склонился над Пономаревым. Он сидел на земле, прислонившись спиной к остановившему его камню. Падая, Пономарев разбил себе голову. Я понял, что если тотчас же не помочь ему, он может потерять сознание или даже умереть.

— Так все-таки узнал? — произнес я почти в самое его ухо.

Пономарев поморщился и прохрипел:

— Сука татарская.

Тут я услышал шум за спиной, оглянулся и увидел, что с другого конца кладбища к нам спешит человек. В руках у бегущего был фонарь. Я упал на землю и отполз в сторону. В голове вертелась мысль: бежать? Нет, поздно. Пожалуй, он поднимет шум, меня могут задержать.

Я отполз подальше и, укрытый кустами и могильным камнем, стал наблюдать, что будет дальше. Как поступить, если Карим, а это был он, заметит меня? Ответа на этот вопрос я не успел найти.

В одной руке сторож держал карманный фонарь, кажется, «Электросила», в другой — какую-то палку, вроде трости. Он склонился над Пономаревым, который полулежал, закрыв глаза, и спросил: «Ты что?» Вместо ответа Пономарев вцепился старику в глотку.

Карим рухнул на землю, а на него всем телом навалился Пономарев. Зачем он сделал это, ведь сторож спешил к нему на помощь? Может, решил, что мы с Каримом заодно или перепутал меня с ним? В темноте да после сильного удара немудрено перепутать.

Я уже собирался броситься Кариму на помощь, но тот управился без меня. Пономарев был слишком слаб после удара, и потому старик без труда стряхнул его с себя, как котенка. Карим поднялся, стал шарить глазами вокруг, пока, наконец, не поднял с земли то, что искал. Я увидел в его руке палку. А дальше произошло то, чего я никак не мог предвидеть. Не медля ни секунды, Карим со всего размаха обрушил палку на голову Пономарева, который копошился у его ног, пытаясь ухватить сторожа за край одежды. Раздался

звук, похожий на хруст сломанной ветки. Пономарев повалился на бок. Карим склонился над поверженным, затем поднял с земли фонарь и, не выпуская палки, направился к своей сторожке суетливой походкой старика.

Я решил пока не покидать моего укрытия, полагая, что Карим не оставит Пономарева в таком положении. Действительно, вскоре я опять увидел сторожа с фонарем, болтавшимся у него на шее на веревке. В одной руке у Карима была лопата, в другой — ведро. Он положил лопату и поставил ведро на землю, затем подхватил Пономарева подмышки и поволок мимо могил.

Отыскав свободное место, Карим принялся за работу. Действовал он умело и вскоре выкопал яму, пригодную для средних размеров мужчины. Управился сторож за четверть часа — даром что старик.

Закопав Пономарева, Карим прихватил ведро и лопату и опять удалился, только на этот раз не в сторону своей сторожки, а к речке. Он набрал листьев и веток и побросал все это на могилу. Так он ходил несколько раз.

«Интересно, — подумал я тогда, — сколько безымянных мертвецов обрели покой на этом кладбище подобно Пономареву?»

Но я не винил старика. Он, похоже, перепугался не на шутку. Я даже был благодарен Кариму, что он снял с души моей грех и покончил с этим мерзавцем.

Одно огорчало меня. Я не успел выяснить у Пономарева, где найти третьего из их компании: Шварца. Выходило, что из трех оставшихся на этой земле убийц отца уцелел он один. Караваев, по словам Пономарева, погиб в Крыму.

Прошло уже двенадцать лет с того черного ноябрьского дня, а я так и не нашел этого Шварца. Не помогли никакие запросы и поиски в Ленинграде, Луте, Москве и других городах. Упаси меня Аллах умереть до того, как я повстречаю его!

**1931. 20 ноября.** Приходил человек с Гороховой. Новый. Назвался Сергеем Ивановичем. Бесцветный, сероглазый, невысокий. Но это, конечно, не настоящее его имя, как и у его предшественника. Интересно, они сами придумывают себе клички или у них есть для этого специальный человек?

«Сергей Иванович» интересовался в первую голову Меджнун. Я сказал, что он, очевидно, душевно болен, но никакой опас-

ности для соседей и общества не представляет. Они там, кажется, и сами в этом убеждены. Только бы оставили его в покое! По остальным тоже говорил, что все в порядке. «Сергей Иванович» кивал и вроде даже верил моим словам.

Встретил на лестнице Меджнуна. Он жаловался на клопов и крыс. Я сказал ему, что крысы не могут так высоко подниматься, потому что боятся высоты. Им и внизу пищи достаточно. Он успокоился, попросил разобраться с клопами. Я обещал добыть ему одно средство, только все это маргышкин труд: когда в квартиру приходит много разных лиц, кто-то из них может принести клопов снова.

Хотел рассказать Меджнуну историю о гусаре-схимнике из «Двенадцати стульев», но решил, что это будет не вполне уместно. Дворник, читающий романы в толстых журналах, не вызывает ничего, кроме подозрения.

**1931. 24 ноября.** Приходил «Сергей Иванович». Зачастил. Не к добру. Опять, как бы между делом, спрашивал про Меджнуна. Я сказал, что никакого беспокойства от него нет. Разговоров о советской власти от него и от других не слышал. Но там уже у них, похоже, сложилось определенное мнение. Есть у них наверняка другие источники.

Все эти друзья-товарищи. Среди них всегда найдется один, который исправно ходит на Гороховую. А может, и не один. Если прижмут как следует, так половина из них сдаст с потрохами Меджнуна. Особенно этот Александр Иванович В.<sup>1</sup> На него только цыкни, так он все расскажет: и что было, и чего никогда не было.

Тучи над Меджнуном сгущаются. Либо посадят, либо вышлют. Я осторожно попытался узнать, что они там против него имеют. Но «Сергей Иванович» ушел от ответа. Чтобы не вызвать подозрений, я прекратил расспросы.

Вечером встретил Меджнуна на улице, он, как всегда, летел куда-то. Хотел сказать ему, чтобы он немедленно уезжал, но не нашел нужных слов.

**1931. 29 ноября.** Был на собрании «двадцатки». Собрались сразу после молитвы. Денег нет. Райсовет предъявляет новые требования по ремонту. Понятно, что они таким образом хотят отобрать

---

<sup>1</sup> По-видимому, имеется в виду А.И. Введенский (пояснение переводчика).

у нас мечеть. В 1920-е денег было достаточно — благодаря нашим купцам в Петербурге и татарам из Финляндии. Но НЭП свернули, а границу закрыли на замок. Камалетдин предложил объявить кружечный сбор в экстренном порядке: попросить у людей, кто сколько может дать. Боюсь только, это не сильно поможет. Решили отправить делегатов в райсовет. Выбрали меня, Исмагила и Хасана.

**1931. 30 ноября.** Шел вечером по Надеждинской и видел Меджнуна с какой-то женщиной у окна. На Эстер, его жену (кажется, теперь уже бывшую?), не похожа. Впрочем, я не стал их разглядывать: оба были совершенно голые. Нужно сказать ему, чтобы повесил шторы. Не дело.

**1931. 2 декабря.** Встретил на лестнице Меджнуна.

— Вы не планируете куда уезжать? — спросил его в лоб.

— Нет, зачем же мне уезжать, — засмеялся он. — Мне и здесь неплохо.

— Да так... зима обещает быть холодной.

Как глупо получилось. Надо завтра ему сказать все как есть.

**1931. 10 декабря.** Сегодня делали обыск у Меджнуна. Я был в это время на Мальцевском рынке. Пригласили дворничиху Дружину из соседнего дома, неграмотную дуру. Самого Меджнуна в квартире в тот момент не было: его забрали в другом месте. Затем опять приезжали. Открыли квартиру. Похоже, что-то забыли прихватить в прошлый раз. Меня тоже позвали. Сам Меджнун уже на Шпалерной. Я волновался так, словно это у меня искали. Набрали всякой мелочи, как последние тряпичники, и вынесли вместе с чемоданом. Квартиру опечатали.

Ну и пентюх же я! Хотел ведь его предупредить. Впрочем, едва ли он послушал бы меня.

**1931. 25 декабря.** ГПУ снова в квартире Меджнуна. Оказывается, они в тот раз забыли взять какие-то важные вещественные доказательства. Болваны! Выволокли ящик с рукописями. Теперь пропадет все. Как пить дать, пропадет!



**1932. 8 января.** В мечети беспокойно. Ожидают новых арестов. Говорил с муллой Сафой. Он весь издерганный. Я посоветовал ему внимательнее присмотреться к окружению. Он сказал, что догадывается насчет Семиуллы — муэдзина. Но что взять со старика? Я честно сказал Сафе, что не могу понять, как за ним, бывшим муфтием, получившим указ о назначении из рук покойного государя, до сих пор не пришли «три буквы»<sup>2</sup>. Советовал ему, пока есть возможность, бежать в Финляндию. Намекнул, что могу помочь. Но он сказал, что никуда не собирается бежать. Говорит, что раз не сделал этого в 1918 году, когда ему предлагал помощь турецкий консул, то теперь и подавно никуда не поедет.

**1932. 5 марта.** Видел Ивана Павловича<sup>3</sup>. Хлопочет за Меджнуна. Жаль старика. Думал ли он, что та власть, за которую он чуть не положил свою жизнь в молодости, посадит в тюрьму его сына?

Иван Павлович спросил меня, какой сейчас год по магометанскому календарю. Я сообщил ему и вежливо добавил, что слово «магометанский» безнадежно устарело и звучит для уха мусульманина так же неприятно, как слово «жид» для еврея. Иван Павлович долго извинялся и благодарил «за науку». Добрый старик.

**1932. 18 марта.** Ко мне в дворницкую вошел среднего роста человек с унылым взглядом. Такой взгляд обычно у людей с Гороховой. Сердце упало. Но я быстро взял себя в руки. Мало ли, зачем он пришел. Когда он обратился ко мне «товарищ Кильдеев», я немного успокоился. Наверяд ли они величают товарищами тех, кого пришли арестовывать.

Но когда я вышел и увидел еще троих, мне снова стало не по себе. Двое были в форме, а двое, включая того, что заходил за мной, в штатском.

Они сказали, что идут в квартиру Меджнуна, и попросили их сопровождать. Сняли печать с его комнаты. Вошли. Маленький толстяк в мятой шляпе, словно кто-то только что сидел на ней, расхаживал по комнате и придирчиво рассматривал каждый предмет. Он попросил проводить его в ванную комнату. Что же это, выходит, он для себя жилплощадь высматривает? А что же будет с Меджнуном?

<sup>2</sup> Имеется в виду ГПУ (пояснение переводчика).

<sup>3</sup> Иван Павлович Ювачев, отец Даниила Хармса (пояснение переводчика).

**1932. 25 марта.** В мечети беспокойно. Все ждут новых арестов. Неужели мулла Сафа не понимает, что большевики никогда не простят ему его прошлого? Удивляет и восхищает его стойкость. Или он получил от чекистов какую-то гарантию? А если получил, то какой ценой?

На собраниях «двадцатки», когда кто-нибудь обронит неосторожное слово или фразу, нависает тишина, и все смотрят друг на друга как нашкодившие дети. До чего же можно людей довести. Скоро своего дыхания будем бояться.

**1932. 18 апреля.** Пришел человек из ГПУ по фамилии Калинин и сказал, чтобы я прошел с ним в квартиру Меджнуна. Сердце забило, как если бы это по мою душу явились. Впрочем, когда-нибудь явятся. Главное, чтобы как можно позднее.

Неужели забирают его комнату? Видел вчера Ивана Павловича, он ничего мне не говорил. Комнату распечатали. Калинин составил акт о том, что эта жилплощадь вновь предоставляется Меджуну.

**1932. 27 мая.** Когда шел к мечети, увидел много подозрительных типов в штатском. Были и мильтоны в форме.

Вскоре все разъяснилось: мулла Сафа арестован. На что он надеялся? Может, и в самом деле кто-то с Гороховой обещал ему, что его не тронут. Даже если так, глупо верить этим типам. Надо было бросить все и бежать. Почему же он не скрылся? Неужели лишь потому, что не хотел оставить мечеть без имама? Тогда это не глупость и не безумие, а тихий подвиг.

Они, конечно, боятся волнений. В прошлом году, когда взяли мулл Якуба и Кемалья, все были напуганы. Арестовали половину «двадцатки». Никто не хотел потом вступать. Пришлось мне тогда согласиться. Должность опасная, на виду, но как отказаться? Они же там, в Смольном, спят и видят, как закрыть мечеть. А если не наберется «двадцатка» — отличный повод отобрать у верующих мечеть.

Похоже, что, как и в прошлый раз, они не ограничатся только муллой, начнут брать людей из «двадцатки», чтобы обескровить всю татарскую колонию.

**1932. 10 июня.** Был у следователя Салоимского. Пока в качестве свидетеля. Лет тридцати, вежливый, но строгий. Спрашивал

о мулле Сафе, слышал ли я от него что-то против советской власти или другие контрреволюционные высказывания. Я отвечал, что не слышал, что он только на тему религии говорит. Спросил, известно ли мне, что «гражданин Баязитов» — бывший царский муфтий?

— Известно, — сказал я. — Об этом все знают.

— А то, что он был связан с охранкой, тоже знаете?

— Такого не могло быть, — решительно отвечал я.

— Почему?

— Тогда бы с ним еще в 1917 расправились. И не ЧК, а сами верующие.

На это Салоимский ничего возразить не сумел, и разговор о Баязитове был окончен.

Я продолжал играть роль полуграмотного татарина-дворника. Сослался на «Сергея Ивановича»: мол, он все про меня знает, вы лучше его спросите. Видимо, уже спросили.

Потом следователь сунул мне протокол. Я оказался в сложной ситуации. Салоимский рассчитывал, что я, как безграмотный, не буду читать и подмахну то, что он там нацарапал. А если я начну изучать протокол и поймаю его на подлоге, он заподозрит неладное и устроит мне допрос с пристрастием. Я взял протокол, пробежал глазами первую страницу, вторую — чтобы понять, что там написано, и выиграть время. Вижу: там от моих показаний один пшик остался. Слова не мои, а следователя. Суконный язык жандарма и показания (пусть и косвенные) против Сафы и некоторых членов «двадцатки». Такой протокол подписывать — смерти подобно, если не для тела, то для души.

— Я плохо по-русски умею говорить. Читать могу. Но лучше я сам все напишу. Мне так душе спокойно будет. — Я продолжал строить из себя простого основательного крестьянина, которого на кривой кобыле не объедешь.

Следователь Салоимский, конечно, возмутился. Зря он, что ли, протокол сочинял! Зачем время отнимать? Он, дескать, все записал с моих слов.

— Я не сомневаюсь, — сказал я. — Но Коран предписывает каждому верующему не подписывать того, чего не понимаешь. Да и вас, наверное, учили, что нельзя никому верить, пока сам все не проверишь.

Салоимский еще пытался давить на меня некоторое время, но в конце концов выругался, плюнул и согласился. И дал мне

новый бланк, чтобы я сам все написал. Я, нарочно оставляя ошибки, выводил свои показания. Салоимский был не рад, что связался со мной.

Кажется, Аллах помиловал меня. Арестовали 27 человек, в том числе почти половину «двадцатки». Меня спасло то, что держал на собраниях язык за зубами и, кроме хозяйственных вопросов, ни о чем более не разговаривал.

Впрочем, дело еще не закончено. В прошлом году многие посыпались. Подписали то, что сунул им следователь. Может, и про меня кто-нибудь лишнее сказал.

**1932. 19 июня.** Видел Меджнуна. Вчера его выпустили из ДПЗ. Он худой, сосредоточенно глядит перед собой. Интересно, он в этих коротких штанишках с пуговичками и клетчатом пиджаке в камере сидел или уже дома переоделся?

Поздравил его с возвращением, спросил, как там.

— Кормили сносно, — бросил Меджнун и побежал дальше. Потом вдруг остановился и добавил: — Но лучше туда не попадать.

Как тут не согласиться! Сам еле от них спасся. Интересно, как вели себя его дружки и собутыльники на следствии, даже если их вызывали только в качестве свидетелей?

**1932. 24 июня.** На собрании «двадцатки» в мечети Исмагил выдвинул меня председателем. Я замахал руками: ни за что! У меня дела и семья. Сказал, что готов помогать советом и рублем, но в «двадцатке» состоять не хочу.

Меня долго уговаривали, но я был непреклонен. Однако этого было мало. Только я вышел с собрания, как меня обступили наши касимовские татары. Попросили ни больше ни меньше как стать для них муллой. Без регистрации, разумеется. Наши касимовские татары ни за что не хотят сергачского муллу. Им непременно надо, чтобы мулла свой был. Сафа арестован, теперь придется мне его заменять. Но Сафа был зарегистрирован. А у меня шансов получить регистрацию нет. Но даже если бы и были, меньше всего мне хотелось бы привлекать к себе внимание. Я пытался объяснить землякам, что как раз за незаконную религиозную работу в мае столько народу арестовали.

— Понимаем, — говорят, — но нам нужен мулла. Будем содержать тебя и всячески оберегать.

Вот анекдот. Только что я предлагал деньги, чтобы откупиться от губительной должности председателя «двадцатки», а теперь мне самому сулят золотые горы, лишь бы я согласился быть муллой.

Обещал подумать. Соглашаться — глупо. Отказываться — подло.

**1932. 25 июня.** Не спал ночью. Утром решил: откажусь. Я не имею права рисковать до тех пор, пока не выполню то, ради чего нахожусь здесь вот уже почти десять лет. Пепел Клааса стучит в мое сердце!

**1932. 1 июля.** Вечером у Меджнуна была попойка. Опять какие-то странные личности приходили. Мало ему было ареста?

Вечером он и еще двое молодых людей, которых я прежде никогда не видел, никак не могли распрощаться в воротах. Наконец, Меджнун отправился их провожать, но минут через десять они снова оказались у ворот. На этот раз спутники Меджнуна решили проводить его. Они долго стояли в воротах и препирались, пока я не потребовал от них определиться. В итоге те двое отправились ночевать к Меджнуну.

Один из них схватил меня за руку и положил в ладонь рубль. Пришлось принять. Работа такая. Если отказаться — какой я после этого дворник!

**1932. 10 июля.** Зашел Меджнун. Сказал, что завтра уезжает в Курск в ссылку. Просил не отказать Ивану Павловичу или Лизе<sup>4</sup> в помощи, если те обратятся ко мне.

**1932. 8 августа.** Сегодня увидел на Литейном человека, и мне показалось, что это Шварц. Шел за ним до самого его дома как заколдованный. Натыкался на встречных прохожих, наступал на ноги, что-то бормотал в свое оправдание. Спросил у мальчишек во дворе: кто это? Они охотно отвечали, что это Абрам Аркадьевич Воробьев, бухгалтер и очень противный человек.

— А вы из ГПУ? — спросил один мальчишка, по виду самый старший среди них.

---

<sup>4</sup>Елизавета Ивановна Грицына (урожденная Ювачева), сестра Даниила Хармса.

— Допустим, — сказал я.

Тогда они, перебивая друг друга, стали просить меня арестовать Воробьева, начали говорить про него всякую чепуху: что он жену бьет, читает иностранные журналы, сильно пачкает в туалете и тому подобное. Я поблагодарил бдительных детей и поспешно ретировался. Обознался. А ведь как здорово было бы вот так случайно на улице встретить его. Но нет, я же полстраны исколесил и не нашел этого Шварца. Чего же я жду?!

**1932. 23 сентября.** Не один и не два раза этим летом подступали ко мне наши касимовские татары. Чего только не предлагали в обмен на согласие стать муллой.

В начале августа хоронили Гатаулли-бабая. Он умер от воспаления легких. Всего 58 лет. Еще до революции он бывал у нас в Луге несколько раз. На кладбище жена Гатаулли подошла ко мне и попросила прочитать джаназа — по покойному, который, по ее словам, очень любил и уважал моего отца. Отказывать в такой ситуации нельзя, и я, конечно, выполнил ее просьбу.

Потом похожая история повторилась с Куян-бабаем. Это прозвище<sup>5</sup> он получил в дни большого наводнения в 1924-м. Тогда он ловко перепрыгивал через потоки воды, как самый настоящий заяц. Дочь покойного Фатыма попросила меня прочитать джаназа. Нечего делать: я опять согласился.

А еще раньше в июне меня пригласили к Неджметдину. Он устраивал угощение по случаю рождения сына. Я пришел, и меня попросили провести обряд имянаречения.

В общем, я понял, что не мытьем так катаньем меня будут вытаскивать то на похороны, то на рождение ребенка, и мне все равно придется «работать муллой». Избежать всего этого можно только полностью отказавшись от общения.

Я оправдываю себя тем, что еще не выполнил свой долг. Пепел Клааса... Но сколько еще месяцев, лет мне искать этого Шварца?! Адресные столы бессильны помочь, милиция — тоже. Он как сквозь землю провалился. Нужно ли прекращать поиски? Нет. Нужно ли по-прежнему отказываться от религиозного служения? Нет. Но как совместить обе эти вещи — жажду мести и служение добру?

---

<sup>5</sup> Куян (татарск.) — заяц (пояснение публикатора).

Если даже мулла Сафа, до революции утопавший в роскоши и не знавший печали, остался в Совдепии и выбрал путь служения, то почему я должен отступить? Я не вправе отказывать людям, когда они больше всего в этом нуждаются. В смутные времена только вера способна уберечь людей от внутреннего разложения. Не случайно верующие, оказавшиеся в застенках ГПУ, легче переносят выпавшие на их долю испытания, чем люди, забывшие о существовании Бога.

Говоря коротко, я теперь мулла. Нелегальный. Ничего, не пропадаем! Молю лишь Аллаха, чтобы не дал мне сгинуть, пока я не разыщу Шварца или не получу доказательств тому, что он мертв. А когда отыщу его, то конец моей работе муллой и конец моему сидению здесь, в Совдепии.

**1932. 13 октября.** Вчера Меджнун вернулся из Курска. Говорили о собаке, которая в его отсутствие угодила под автомобиль. Ничуть не изменился. Выглядит бодрым и веселым, как будто только вернулся с курорта.

**1932. 12 ноября.** Явился новый человек из ГПУ. Представился «Петром Ивановичем». Спрашиваю его:

— А где же Сергей Иванович?

— Он оказался врагом народа.

— Вот те раз!

— Вас это так взволновало? — спросил «Петр Иванович».

— Конечно! Он же, Сергей Иванович, все про врагов народа мне толковал, а вот в итоге и сам им оказался. Как же так?

— Бывает, — пожал плечами «Петр Иванович», словно речь шла о чем-то обыденном. — Не доглядели. Слишком много врагов развелось. Поэтому мой вам дружеский совет: поменьше распространяйтесь об общении с Сергеем Ивановичем.

— Спасибо, учту. А как с вами быть?

— Не понял, — нахмурился «Петр Иванович».

— Ну вот вы сейчас говорите со мной, я вам верю, рассказываю все, а потом вместо вас придет однажды другой человек и скажет, что вы тоже того...

— Что того?

— Ну, враг народа.

— Не говорите глупостей, — возмутился «Петр Иванович».

— Вот и Сергей Иванович мне то же самое говорил.

— Что говорил?

— Что не надо «говорить глупостей». А потом оказалось, что глупости говорил он сам.

— Дурак, — сказал «Петр Иванович».

На этом первая наша встреча завершилась.

**1932. 5 декабря.** Я не просто мулла, я — мулла-бюрократ. За каждую требу беру расписку. Те, кто зовет меня, пишут бумагу, где указывают, что я не получил от них ни копейки. Это на случай, если меня арестуют. По крайней мере, срок меньше дадут, так как нет материального интереса.

Прошу тех, кто приглашает меня, сдавать все деньги, которые мне полагаются, в кассу мечети. Душат налогами, насылают комиссию каждые полгода проверять, как идет ремонт в мечети. А денег в кассе все меньше и меньше.

**1933. 19 января.** С завтрашнего дня начинают выдавать паспорта. Те, кому паспорт не дадут, должны будут в течение 10 дней уехать из города. В пятницу в мечети ко мне подошел Абдурахман, спросил, что ему делать. Он уверен, что ему не светит получить паспорт. Абдурахман приехал в Ленинград в 1931 году из деревни. Бежал от раскулачивания. Устроился в котельную, но в бумагах значится не он, а некий Борисов, горький пьяница и плут. Абдурахман работает за него и отдает Борисову большую часть заработка. Если бы не сын, который устроился в одну из артелей по ремонту одежды и обуви, то они бы с голоду померли.

Обещал Абдурахману помочь, но что я могу сделать. Потом, уже на улице, меня нагнал Касим и тоже спросил, как быть с паспортом. Он с семейством также на птичьих правах.

Многих татар, конечно, выкинут из города.

**1933. 20 февраля.** Зашел к Меджнуну. Он предстал передо мной совершенно голым.

— Даниил Иванович, — сказал я ему. — Что же вы! А если милиционер придет? Или дама?

— А дама уже пришла, — сказал Меджнун и подмигнул мне.



Он захлопнул дверь и через пять минут снова открыл. Теперь он был в накинутом прямо на голое тело халате.

— Халат-халат, — стал дразнить он меня. — Смотри, Ибрагим, какой халат я купил.

За спиной его заметил не одетую брюнетку. Это художница Алиса П.<sup>6</sup> Я прежде много раз видел ее у Меджнуна, но теперь, кажется, у них все всерьез и надолго.

**1933. 11 апреля.** Меджнун просил меня написать какое-нибудь магическое заклинание, которое позволит уберечься от несчастий. Написал ему текст на арабском: «Я прибегаю к защите Аллаха от проклятого шайтана». Объяснил значение этой фразы. Меджнун ушел, нараспев повторяя эти слова.

**1933. 5 июня.** Только что вернулся из Киева. В ответ на мой запрос пришел ответ, что в этом городе проживает некий Андрей Александрович Шварц. Бросился туда. Не он.

Прошло четырнадцать лет. За это время я перебрал двадцать пять Андреев Шварцев — из тех, что подходили по возрасту. И все не то, и все не те. Может, этого моего Шварца уже и на свете давно нет? Вполне возможно. Но я должен убедиться в этом. Я завяз в СССР, и теперь, похоже, уже не выберусь отсюда.

**1934. 7 мая.** У Меджнуна недавно появилась новая женщина. Зовут ее Марина.

**1934. 20 июля.** Сегодня возвращался с рынка. Захожу во двор нашего дома и вижу трех возбужденных молодых людей. Не пьяные.

Чуть было не спросил: «Что вам угодно?» — но спохватился и, придав голосу строгости, сказал: «Я дворник. Чего надо?»

Один из них, тот, кто, по-видимому, был за главного, заговорил быстро, поглядывая то на меня, то на окна.

— Дядя, живет тут у вас один человек, по виду либо иностранец, либо из бывших? Такой длинный, в коротких штанишках и клетчатом пиджаке.

Я сразу понял, о ком речь.

— Имеется такой. А что он натворил?

---

<sup>6</sup> Имеется в виду художница Алиса Ивановна Порет (пояснение переводчика).

— Ты что, дядя, газет не читаешь? В Ленинград проникли бело-гвардейцы, имеющие целью убийство товарища Кирова.

— Не слышал. А вы-то тут причем?

— Мы — комсомольцы, помогаем милиции найти врагов. Так кто этот человек?

— Это знаменитый детский поэт, — отвечал я. — Он не белогвардеец и не иностранец. А отец его — известный революционер, сидевший в той же тюрьме, что и старший брат Ленина.

Разочарованные ловцы шпионов удалились.

**1934. 5 августа.** Зашел к Меджнуну — принес средство от клопов. На двери его комнаты замок и записка: «Мы уехали в Ольгино!» Я уже направился к выходу из квартиры, но за спиной моей раздался щелчок. Обернулся и увидел, что через отверстие в верхней части двери пробивается лучик света. Там имеется окошко наподобие тех, что существуют в тюремных камерах и называются «волчком». «Волчок» приоткрылся, и показалась довольная физиономия Меджнуна.

— Это вы от меня скрываетесь? — спросил я.

— Нет, от безденежья.

Надо будет Марине, как в прошлый раз, деньги предложить. Меджнуну давать бесполезно: спустит на друзей. А Иван Павлович не возьмет.

**1934. 1 декабря.** Убили Кирова. Много раз слышал о нем такие слова: «Ну, по сравнению с Зиновьевым, Мироныч ничего». Вот именно, что ничего! Тот был чистый людоед, готовый жрать людей 24 часа в сутки, а этот — людоед, который страдал несварением желудка.

На улицах полно хмурых людей, как будто это их отец родной умер. Только Меджнуну да Ивану Павловичу все нипочем. Днем Меджнун отправился куда-то в веселом расположении духа.

Вспомнил комсомольцев, которые этим летом ловили убийц Кирова. Что же вы так оплошали, ребята?

**1935. 11 января.** Вчера, когда я зашел к Меджнуну по квартирным делам, он затащил меня в комнату и стал читать свой рассказ. Один из героев — дворник Ибрагим. Я слушал, улыбался из вежливости, а сам разозлился не на шутку. Думаю: вот погоди, я про тебя тоже рассказ напишу.

**1935. 1 февраля.** Сочинил на досуге один рассказик. Думал показать Меджнуу. Но как-то все случая не было.

**1935. 15 февраля.** С Литейного пришел новый человек. Назвался «Павлом Ивановичем».

— А где Петр Иванович?

— Петр Иванович оказался врагом народа. Его изобличили как агента польской разведки и расстреляли.

Я чуть не крякнул от удивления.

— Вас это расстроило? — внимательно глядя на меня, спросил «Павел Иванович».

— Нет, скорее удивило. Такой приличный вроде человек. А оказалось... Он, что же, поляком был? Вроде не похож.

— Для того чтобы быть польским шпионом, необязательно быть поляком. Его завербовал резидент польской разведки.

У меня чесался язык спросить, кто же был этим резидентом, но я промолчал.

— Он все такие, шпионы: легко втираются в доверие и часто изображают из себя не того, кто они есть на самом деле.

— Понимаю, — кивнул я в ответ. — У нас тоже один татарин в деревне был. Муллоу работал, а сам водку по ночам пил.

Когда «Павел Иванович» ушел, я, наконец, позволил себе расхохотаться. Оказывается, ко мне целых два года польский шпион ходил, а я и не знал.

**1935. 1 марта.** Я теперь большой человек. Управдом. Прежнего выслали с «кировским потоком». Прибавилось хлопот. Когда теперь искать этого проклятого Шварца? Может, плюнуть на все и утечь, пока не поздно, за кордон?

Недавно услышал от сына интересное слово: «не проханже». Означает: не пройдет, ничего не выйдет. Все чаще думаю, что моя затея найти Шварца «не проханже». Как там в «Золотом тельце»: «Графа Монте-Кристо из меня не получилось...»

**1935. 15 апреля.** Встретил на лестнице Ивана Павловича. Спросил его, все ли в порядке с Меджнуном. Не видел его уже несколько дней. Оказалось, Меджнуна арестовали в прошлый понедельник за незаконную коммерческую деятельность. Он пытался «толкнуть»

какие-то вещи, а покупатель сдал его на месте, так сказать, преступления. Я сказал Ивану Павловичу, чтобы в другой раз обращались ко мне: помогу через наших татар-старьевщиков по выгодной цене сбыть любую вещь без всякого риска.

**1935. 6 июня.** Работать муллой становится все опаснее. К Ахметшиным приходил мильтон, интересовался, что я делал у них. Они приглашали меня на седьмой день после смерти Шамсикамар Кадеевой в прошлый четверг. Кто-то из соседей проявил бдительность. Надо быть осторожнее. Но как? Не могу же я отказывать людям. К себе приглашать — верная гибель.

**1935. 9 сентября.** Снился странный сон. Я в Париже. Иду по набережной, а навстречу мне писатель Анатолий Франс, похожий на спившегося Дон Кихота. Я подхожу к нему и бью его по морде.

— За что?! — кричит Франс.

Я хочу ответить ему и понимаю, что забыл причину. Мне становится неловко, я в смятении бегу и наталкиваюсь на обычного советского мильтона.

— Ваши документики, гражданин, — грассируя, как Вертинский, говорит он.

Я вглядываюсь в его лицо и понимаю, что это и есть Вертинский. Я бью его по морде.

— За что?! — кричит Вертинский.

Я хочу ответить ему и понимаю, что забыл причину. Мне становится неловко, я в смятении бегу.

А потом я проснулся. Даже обидно стало, что не узнал, чем там все кончилось.

**1935. 20 октября.** Не думал, что работа «бродячим муллой» будет сопряжена с таким риском. Каждый раз, когда меня приглашают, я мысленно готовлюсь к тому, что ночью за мной придут. Как это утомляет и иссушает душу! Вроде бы уже давно все решил, но продолжаю спрашивать себя: зачем? Зачем я делаю это, рискуя своей жизнью и подвергая опасности близких мне людей? Я ведь никогда не хотел быть муллой.

Христианин сказал бы, что это мой крест. А как полагается говорить в таком случае мусульманину? Сказать, что я делаю это для

себя, будет неправдой. Утверждать, что делаю это для людей, тоже неверно. Или, точнее, верно, но лишь наполовину. Но для чего тогда все это? Фатализм, кismet? Тоже не то. Сейчас у нас любой поступок, который выходит за рамки норм, предписанных советскому человеку, это уже подвиг. И если ты человек, а не дрессированное животное, то неизбежно выйдешь за границы этих предписаний. Вот и мое незаметное служение есть маленький неизбежный подвиг. Я сам выбрал этот путь и упрекать в чем-то могу лишь себя и никого другого. А сделав первый шаг, нужно делать следующий.

До революции я мечтал, что в моем распоряжении будут все буфеты по Николаевской железной дороге. Всерьез думал о том, чтобы открыть татарский ресторан на Невском. Все шансы для этого имелись, но случился Октябрьский переворот. С тех пор у всех у нас была лишь одна цель — выжить. Потом я понял, что хочу стать генералом. Но и этой мечте не суждено было сбыться. Вместо этого я открыл магазин ковров. И вот теперь я — дворник и мулла. Если бы до семнадцатого года кто-нибудь сказал мне, что я буду дворником и подпольным муллой, ни за что не поверил бы. Ладно только дворником или только муллой: всякое бывает. Но дворником и муллой одновременно — такого, конечно, вообразить было нельзя даже человеку с богатой фантазией.

**1936. 16 января.** Теперь мы живем на улице Маяковского. Чем угодила им Надеждинская? Впрочем, все верно. Никакой надежды уже не осталось. Это понял и Маяковский, когда пустил себе пулю в голову.

**1936. 4 марта.** Вчера на кладбище провожали Мухаметджана Янбулатова. Читал джаназа. Было человек десять, все свои: члены семьи и близкие друзья покойного. Только один гражданин показался мне лишним. Это татарин, не из наших краев, я видел его пару раз в мечети в этом году. Стоял он в стороне, словно случайно проходил мимо и, увидев похороны, решил почтить память усопшего. Может, так оно и было. В другое время я бы не обратил на него никакого внимания, но сейчас в каждом подозреваешь доносчика или филера.

**1936. 8 апреля.** Иван Павлович спросил, могу ли я помочь ему продать некоторые старые вещи. Торгсина теперь нет, а на бара-

холке он стоять не хочет, ноги болят и неудобно. Это была дамская одежда: платье, блузка, шляпка, по-видимому, принадлежавшие одной из сестер Ивана Павловича. Сегодня же принес ему деньги: девяносто рублей.

— Так много! — изумился Иван Павлович. — Столько бы и в Торгсине не дали.

Я пожал плечами: значит, стоящая вещь, раз старьевщик столько дал.

**1936. 20 апреля.** Сегодня был у Изятуллы. Он пригласил меня на 40 дней по его жене. Едва я вошел в комнату, как сразу же заметил среди присутствующих того типа, которого видел в марте на кладбище.

Пока совершал омовение, думал, как поступить. Лучше всего было уйти. Но не те обстоятельства: Изятулла обидится. Да и этот субъект уже увидел меня. Если я уйду, это вызовет больше подозрений.

Я улучил момент и выскочил в коридор вслед за Изятуллой. Спрашиваю: кто этот тип? Оказалось, татарин из Ключищ. Зовут Алим. Недавно приехал в Ленинград. Работает кладовщиком. Живет у родственника Ахмеджана Юнусова. Пришел вместе с ним.

Не нравится мне этот Алим. Зачем понадобилось нижегородскому татарину ходить к касимовским? Тут что-то не так. После поминальной молитвы и трапезы я нарочно громким голосом, так, чтобы слышали все присутствующие, продиктовал Изятулле текст расписки.

**1936. 1 августа.** Сегодня Меджнун зашел ко мне по квартирным делам и увидел на столе первый том «Истории израильского народа» Ренана на французском. Спросил, где я добыл эту книгу. Пришлось выкручиваться, сказал, что нашел на помойке.

— А закладки зачем?

— Там, где красиво написано.

— Да ты эстет! Знаешь что, отдай эту книгу мне, — сказал Меджнун. — Ты же все равно ничего не понимаешь. А я Марине дам. Она французский изучать собирается.

Нечего делать: пришлось отдать книгу. Одно успокаивает, что хорошему человеку. А мне так скоро будет нечего читать по вечерам. Надо навестить букинистов.

1936. 15 августа. Только вернулся из Казани. По моей просьбе один татарин, с которым мы еще в НЭП вместе торговали, узнал, что в городе с недавних пор живет некий Шварц, который в Гражданскую служил на Балтфлоте. Я взял отпуск, договорился в жакте, что брат жены Ибрагим подменит меня, и помчался в Казань. Увы, это оказался другой Шварц. Я уже сомневаюсь, что он вообще существует где-то за пределами моей памяти, этот Шварц! Сколько таких поездок было в 1920-е! С каждым годом шансы найти его тают.

Казань произвела грустное впечатление. Из всех мечетей работает только одна. Я ожидал найти ее переполненной, но увидел не так много народу. На меня, как на чужака, смотрели с подозрением. Увидел в мечети среди прихожан муллу Сафу и чуть не бросился к нему. Он тоже меня заметил и сделал знак рукой, чтобы я не подходил.

Я дождался, когда он выйдет, и последовал за ним. Убедившись, что никто за нами не идет, подошел к нему. Он сказал, что на квартиру к нему лучше не ходить, и предложил пойти в зооботанический сад. Идеальное место для тихой беседы.

Сафа сказал, что его чуть больше месяца назад освободили. В Ленинграде ему жить нельзя. Работает в почтовом отделении, учится на счетовода. Ведет незаметную жизнь.

Я спросил, что заставляло его служить муллой тогда, в Ленинграде. Ведь он был на виду у ГПУ. Сафа ответил, что как-то все само собой получилось.

— Еще при жизни отца я ни в чем не нуждался, — сказал Сафа. — А когда он умер, я стал муллой. Я не представлял себе иной работы. Должность перешла мне по наследству вместе с квартирой и газетой, которую издавал отец. Наш приход был самым богатым в столице, в центре города, наши купцы, владельцы ресторанов, официанты делали щедрые пожертвования. Я жил богато и красиво. Верил ли я в Бога? Конечно, верил, я считал, что раз Он даровал мне все это, всю эту роскошную жизнь, значит Он вполне доволен мной. Еще больше я укрепился в таких взглядах, когда был утвержден муфтием. Шутка ли: сам государь удостоил меня аудиенции перед тем, как я отправился в Уфу. А потом случилась революция, и мы с семьей остались без средств существования. Большую часть накопленных богатств у нас отобрали, а то, что удалось сохранить, мы быстро проедали. Находиться в чужой для меня Уфе было бессмысленно, да и просто опасно, поэтому я вернулся в Петроград.

Сафа искал работу в каком-нибудь совдеповском учреждении, написал даже письмо Троцкому с просьбой принять его в комиссариат иностранных дел. Но все тщетно. А тут, узнав, что Сафа вернулся в Петроград, к нему стали наведываться земляки. Приглашали совершать разные требы: от имянаречения ребенку до заупокойной молитвы.

— Я согласился, — продолжал Сафа, — в конце концов, мне нужно было кормить семью. Конечно, это были уже не те деньги, какие я получал до Октябрьского переворота, но жить было можно. Я служил муллой, потому что ничего лучше этого делать не умел. И вот однажды один бабай, который еще моего отца помнил молодым, сказал мне: «Это милость Аллаха, что вы снова оказались здесь, среди нас, в Петрограде. Нам очень не хватало вас». Я задумался: раньше я считал милостью Божией, что жизнь моя протекала в достатке, а оказывается, милость Аллаха совсем в другом. В том, что люди нуждались во мне, что я был необходим им, и они готовы были делиться со мной последним, хотя и сами едва сводили концы с концами. Ты же помнишь тот страшный голод в Петрограде в 1918-м?

— Меня тогда не было в городе, — сказал я.

— О, тогда ты ничего не знаешь о том, что такое беда. Но даже в такое время люди приходили. Только приносили уже не деньги — они утратили всякую ценность, — а продукты. Помню, как после имянаречения ребенка мне в одном доме дали фунт хлеба и фунт мороженого картофеля. Я видел, в какой бедности жили эти люди, и от хлеба отказался. А картофель все-таки взял и потом по дороге домой корил себя за то, что не оставил и его. Если бы кто-нибудь сказал в 1915 году, когда я только стал муфтием, что мне придется служить за фунт мороженого картофеля, не поверил бы. Рассмеялся бы такому человеку в лицо. Но теперь я был рад и этой пище. И если бы люди не нуждались в моих услугах, не приходили бы ко мне как к своему духовному пастырю, я бы, возможно, просто умер с голоду. И тогда я понял, что тот бабай был прав.

Я поблагодарил Сафу за откровенность.

— Одно меня смущает, — сказал я. — Я ведь прежде не был муллой. И не готовил себя для этого поприща.

— Это как раз хорошо, — возразил Сафа. — Мулла по профессии больше думает о своем желудке и кошельке, чем человек, ставший муллой в силу определенных обстоятельств. Когда ты сидишь вни-



зу лестницы, ты мечтаешь подняться наверх, и как можно скорее. Но когда ты свалился вниз и больно ударился при этом, ты уже не будешь снова стремглав нестись наверх. Шишки и синяки напомнят тебе об этом. Ты понимаешь меня, Ибрагим, ты же тоже из «бывших».

— А сейчас... вы тоже служите? Вы можете не отвечать, если это...

— Отчего же. Служу, — тихо отвечал Сафа.

Нет, не зря я все-таки приехал в Казань. Кто бы подумал, что встречу здесь муллу Сафу и так откровенно с ним поговорю.

**1936. 2 декабря.** Возвращался поздно вечером от Махмутовых. Шел по набережной Обводного канала, а навстречу мне — среднего роста человек в пальто. Мы поравнялись, от меня не укрылось, что этот случайный прохожий просто пожирает меня глазами. Не останавливаясь, я пошел дальше. Решил, что дойду до моста и погляжу.

До моста оставалось метров двести. Все это время я пытался заставить память рассказать мне, где же мы с этим человеком встречались. Неужели это Шварц? Нет, это определенно был не он. Но кто тогда?

Маленькие, глубоко сидящие черные глазки. Большой красный нос. Родинка на левой щеке. Родинка! Ну и что? Мало ли у кого родинка на левой щеке.

Я свернул на мост и нагнулся, чтобы завязать шнурок. Этот субъект следовал за мной. Вот он резко остановился, достал портсигар. Я поднялся и направился к нему навстречу.

— Мне кажется, мы с вами где-то встречались прежде, — сказал я ему.

— Нет, вы ошиблись, — пробормотал он.

— Тогда какого черта вы идете за мной?

— Я не за вами иду! Мне просто туда надо...

— В таком случае вам придется пройти со мной. — Я отвернул ворот и показал ему значок.

— Что вы, товарищ, — переполошился он. — Я ничего такого не имел в виду. Просто вы мне одного человека напомнили. Со времен польской войны. Мы тогда в плен татарина одного взяли, он у поляков служил.

— И что с ним потом стало? Вы же его, наверное, расстреляли? А я совсем не похож на покойника.

— Да в том-то и дело, что не расстреляли. Утек он, товарищ.

— Ах вот оно что, — я изобразил на лице гнев и стал наступать на своего собеседника. — Значит, вы упустили преступника и сейчас мне в этом сознались. Пройдемте-ка, гражданин, как ваша фамилия...

— Зайцев.

— Так вот, гражданин Зайцев, сейчас вы пройдете со мной и там все объясните, но уже не мне, а следователю.

— Это не я! Я сейчас все объясню. Это солдат-татарин, который охранял его... ну этого, пленного, у сарая. Он отпустил его. Я... мы расстреляли его.

Не знаю, что нашло на меня в тот момент. Возможно, выражение его лица, когда он произносил эти слова, вывело меня из себя. Я ударил его. Он пошатнулся, но не упал. Еще удар, и в руках у меня безвольное тело. Я огляделся по сторонам: никого. Посмотрел вниз: как раз под нами находилась полынья...

Когда поверхность воды вновь стала безмятежной, я быстро зашагал прочь.

**1937. 10 июля.** Рад, что эта тетрадка уцелела и дождалась своего хозяина. И спасибо Фатыме, что сберегла ее. Наверное, стоит прекратить это сочинительство. Пусть это всего лишь плод моей фантазии. Сейчас ведь такая жизнь, что и за фантазию можно получить фантастический приговор. И все-таки не могу не написать хотя бы коротко о том, что происходило со мной за последнее время.

Если кому-то из моих потомков суждено будет прочесть эти записи, пусть знают, что я вел себя достойно.

8 декабря в час ночи за мной пришли. Двое в форме. Дали десять минут на сборы. Обыск проходил уже без меня. Благодаря моей предусмотрительности и осторожности, ничего стоящего не взяли, если не считать перевода Казимирского. Книгу эту после освобождения мне так и не вернули. А я, дабы не вызвать подозрений, не стал настаивать. Придется искать это издание у букинистов.

Меня привезли в ДПЗ. В камере вместе со мной было десять человек. Вонь, от которой щиплет виски. Моим соседом оказался тощий старик по фамилии Карпов, до революции некоторое время состоявший в партии эсеров. Он уже успел при большевиках отсидеть в тюрьме и побывать в ссылке. И вот повторный арест. На дело свое он смотрел обреченно. Говорил, что они не успокоятся, пока не уничтожат всех, кто умеет размышлять.

На допрос меня вызвали только через день. Следователь Свинцов, крепкий, румяный. На первом допросе только анкетные данные и общие вопросы. Обращался ко мне официально, исключительно на «вы». Прошла неделя, прежде чем состоялся второй допрос. Все это время я ломал голову, к чему они прицепились. Меня обвиняли по пятьдесят восьмой, пункт десять. В первую очередь я подумал, что поводом для ареста послужила моя работа муллой и членство в «двадцатке». А может, меня взяли по делу Духовного управления в Уфе? В мае арестовали Кашшафа Тарджемани — за то, что тот хотел стать муфтием после смерти Ризы Фахретдина. Мы встречались с Кашшафом, когда тот приезжал в Ленинград в 1935-м. Не стал я сбрасывать со счетов и прошлую свою жизнь. Я перебрал все возможные версии и придумал для каждой из них стратегию поведения на допросе.

Когда меня вызвали к следователю через неделю, все, наконец, прояснилось. На столе у Свинцова лежали расписки, которые давали приглашавшие меня для свершения обрядов татары.

— Почему вы, не будучи служителем культа, стали работать муллой? — спросил меня следователь.

— Меня наши касимовские татары попросили. Они без муллы остались — после того как муллу Сафу арестовали.

— Вы разделяли взгляды Сафы Баязитова? — бодро вцепился в знакомую фамилию следователь, как молодой пес в брошенную палку.

— О взглядах Баязитова ничего сказать не могу. Мы с ним не общались. Но у нас, касимовских татар, больше доверия к своим землякам. Меня попросили быть муллой.

— Почему именно вас попросили быть муллой?

— Не знаю, гражданин следователь, это вы лучше их спросите.

Затем он спросил, почему я не встал на учет в церковном столе. Я отвечал, что меня все равно не зарегистрировали бы. К тому же в Духовном управлении мне бы также не дали свидетельства, так как я не принадлежу к духовенству.

Услышав о Духовном управлении, Свинцов оживился. Я понял, что совершил чудовищную глупость, но было уже поздно. Он начал расспрашивать меня о том, в каких отношениях я состоял с членами Духовного управления, в том числе с арестованным Кашшафом Тарджемани и другими. Я отвечал, что не был ни с кем зна-

ком, поэтому даже не пытался получить от них бумагу, что могу работать муллоу.

Что до церковного стола, я же был в «двадцатке» и видел, как они каждый раз не хотели регистрировать нового муллоу. Следовательно сказал, что закон не препятствует деятельности религиозных объединений, и я клевету на советскую власть. Я понял, что разговор пошел в неправильном направлении, и попытался исправить положение. Долго говорил о том, что советская власть и товарищ Сталин разрешили гражданам ходить в мечеть для удовлетворения своих религиозных нужд, а некоторые чиновники на местах чинят препятствия.

— Вы, может, и Конституцию читали? — спросил вдруг Свинцов.

— Немного ознакомился в «Известиях».

— Конституцию не для таких, как ты, писали, а для коммунистов, сражающихся с гидрой фашизма в Европе, — вдруг перешел на «ты» следователь. В дальнейшем он часто перескакивал с «вы» на «ты», возможно, сам того не замечая.

— Спасибо, что растолковали, не знал об этом.

— Сколько вы получали за свою работу муллоу?

— Ни копейки. Все, что мне хотели дать в качестве вознаграждения, я просил направлять в кассу мечети. Я вижу у вас на столе расписки. Там все сказано.

— Почему вы не брали деньги? У вас большая семья. Разве вы не нуждались в деньгах?

— Правда ваша, деньги всякому человеку нужны. Но тут у меня резоны свои были. Во-первых, советская власть, слава Аллаху, обеспечила трудовому народу достойную жизнь. Даже дворник может жить хорошо, как раньше дворяне всякие, если добросовестно выполняет свою работу. А во-вторых, я же знаю, что нельзя в обход государства капиталы зарабатывать. Вот я и не нарушал. Это ведь против Аллаха — государство обманывать. Как отца родного, который для тебя последнюю рубаху отдает, чтобы ты в тепле и уюте находился. А есть еще третий резон. Деньги эти мечети нужнее. Советская власть дала нам, мусульманам, возможность беспрепятственно выполнять свои религиозные обряды и пользоваться зданием мечети. А от нас требуется немного: поддерживать здание в надлежащем виде. А для этого деньги нужны. Вот я и хотел, чтобы все деньги шли в кассу мечети. Поэтому и развел такую бухгалтер-

рию. Мне жена говорит: ты говорит, Ибрагим, настоящий этот, как его... брюхократ.

— Что-то ты слишком умный, папаша, — смеясь, перебил меня следователь.

— Вот и жена мне говорит: ты, Ибрагим, умник. Тебе бы подучиться, и, может, депутатом когда-нибудь станешь.

Когда Свинцов дал мне прочитать протокол, я, сославшись на свою малограмотность, попросил время на изучение этого «важного документа». Понял я, что тот фокус, который я в прошлый раз выкинул, когда меня свидетелем по делу муллы Сафы вызывали, не проханже, и переписать протокол мне не дадут. Поэтому оставалось только тянуть время. Свинцов сказал, что больше часа мне дать не может. Сам пил чай и смотрел, как я читаю.

А я в ужасе: в протоколе приведены якобы мои признания, что я занимался антисоветской деятельностью, в частности, под видом муллы ходил по квартирам татар и вел разговоры против партии и правительства. Назывались имена хороших достойных людей, которых я якобы завербовал в свою группировку.

— Прочитали? Подписывайте.

— Не могу.

— Почему?

— Ну вот представьте, гражданин следователь, подпишу я сейчас этот протокол, а потом, когда умру, на страшном суде Аллах будет заслушивать показания ангелов. И кто-то их них, соблазненный сатаной, начнет давать против меня ложные свидетельства. И вместо того, чтобы отправиться в Рай, душа моя полетит прямоком в Геенну огненную.

— Это ты кого с сатаной, сукин сын, сравниваешь? — заорал Свинцов. — Советскую власть?!

— Никак нет. Это я так, для наглядности... для понимания линии своего поведения.

— Не надо тут наглядность разводить. Не дураки. От вас никто не требует ложных показаний. От вас требуют правдивых показаний. Чтобы вы идейно разоружились перед органами и рассказали о своей контрреволюционной работе.

Следователь мой оказался человеком неглупым и в целом деликатным для того ведомства, в котором служил. Но, видимо, начальство было им не очень недоволено. Привели меня однажды на

допрос, а там, в кабинете, кроме Свинцова, еще один. Мой следователь мне его не представил. Сидел этот тип рядом у стены, слушал внимательно, что я говорю, потом вдруг как вскочит, да как даст мне по голове. У меня в ушах зазвенело. А ударил он меня Кораном в переводе Казимирского. Я когда только в кабинет вошел, увидел его на столе у Свинцова.

— Откуда у тебя эта книга? — орал у меня над ухом второй, незнакомый мне следователь.

— Моя книга, — потирая макушку, сказал я.

— Откуда она у тебя?

— Нашел на помойке.

— Зачем она тебе?

— Смотрю — вроде Коран. Хоть и не на нашем написано, а все-таки священная книга, грех на помойке оставлять. Большой грех.

Он раскрыл книгу и, ткнув пальцем в текст, приказал: «Читай!» Когда я увидел, куда он указывает, я едва сдержал смех. Дело в том, что открыл он на том месте, где была сура «Сгусток». Там архангел Джibrил, обращаясь к пророку Мухаммаду, произносит: «Читай!»

— Ты что смеешься? Над органами смеешься? — заорал второй следователь и снова обрушил Коран на мою голову.

Я пришел в себя на стуле в том же кабинете. Второй следователь тряс меня за плечи и орал: «Рассказывай, как тебя завербовал агент японской разведки Кашшаф Тарджеманов и какие задания ты от него получал!»

— Я не знаком с ним, — пробормотал я.

Удар по зубам. Я сполз на пол и решил, что буду изображать беспомощность, даже если мне начнут втыкать иголки под ногти. Мой мучитель грязно выругался. Пнул меня ногой. Я лежал, не шелохнувшись. Оба следователя некоторое время стояли надо мной. Потом я услышал шаги, кто-то поднял трубку. Голос Свинцова. Двое конвоиров поволокли меня в камеру.

Больше тот, второй, не приходил. Но Свинцов стал держаться со мной строже, хотя и не бил меня. Я продолжал все отрицать. Свинцов дал мне прочитать показания против меня. Догадка моя подтвердилась: те, кого я считал осведомителями, оказались ими. Была очная ставка с Хусяином, который утверждал, что я вовлек его по заданию японской разведки в группу, имевшую цель провоцировать недовольство советской властью среди татар. Я отвечал,

что никуда никого не вовлекал, а Хусяин дает клеветнические показания. Он мстит мне таким образом за то, что я поймал его на воровстве из кассы мечети. Пусть Свинцов заслушает показания любого из членов «двадцатки», и они расскажут о «подвигах» Хусяина, когда он был казначеем мечети.

Я понимал, что не один Хусяин оклеветал меня. Но я не смел, не мог поступать таким же образом в отношении других — даже тех, кто, позабыв о совести, говорил обо мне неправду.

Я думал о том, что если отрекись, дам показания, то предам не только других, а предам, прежде всего, себя самого. Никто не принуждал меня к религиозному служению. Я сам выбрал этот путь. Я молил Аллаха лишь о том, чтобы Он даровал мне силы не согнуться и не погубить свою душу.

Затем допросы стали проводиться реже. Я даже подумал, что обо мне совсем забыли. Шли месяцы. Встречи со следователем превратились в формальные мероприятия. А однажды в кабинете Свинцова меня ждал уже другой следователь — Манышев. К счастью, не тот, что бил меня. Манышев был вежлив. Предложил чаю. Я согласился, а от папирос отказался.

И снова по кругу: «Вы избалованы как японский шпион!» Тут у меня началась форменная «истерика». Я заорал, что если он еще раз произнесет при мне такие слова, я что-нибудь с собой сделаю, найду способ убить себя. Я заслуженный трудовой человек, образцовый дворник, честный управдом, а он смеет оскорблять меня!

Манышев не ожидал от меня такого и лишь бросил: «Перестаньте орать, вы не на базаре!» Сунул мне в конце допроса протокол. Я читал и дивился: следователь ничего не переврал, разве что изложил мою ярость казенным языком. Как говорится, «все записано с моих слов верно». Потом целый месяц меня никто не дергал. И вот позавчера Манышев вызывает меня и зачитывает решение об освобождении. Не верю своим ушам. Но это действительно правда.

**1937. 2 августа.** Вчера П. заглянул ко мне. Вроде как по делам.

— Я бы советовал тебе куда-нибудь исчезнуть. И лучше как можно скорее, — сказал он в конце разговора.

— То есть как это исчезнуть?

— Просто взять и куда-нибудь уехать. Это дружеский совет. Я же знаю, где ты был. Поверь, после первого раза они тебя в покое не

оставят. Ты уже с точки зрения государства неблагонадежный элемент. Те, кто тебя арестовал, ведь как рассуждают? То, что тебя не отправили в лагерь, это не твоя заслуга, а их недоработка.

— Но куда же мне ехать?

— Это тебе решать.

Больше я его ни о чем не спрашивал. Он и так уже достаточно сказал.

Поговорил с Михайловым, он теперь управдом. Он лез с вопросами, что со мной случилось и, главное, почему выпустили. Я отвечал, что был жестоко оклеветан врагами народа, но наши справедливые органы во всем разобрались. Однако во время пребывания в ДПЗ у меня открылись старые болезни, и теперь я уезжаю поправить здоровье в теплом климате. Михайлов не возражает, если шурин Ибрагим будет до моего возвращения оформлен как дворник. Мухаммят уже взрослый, Фатыма бойкая. Без меня они справятся. Да и не с пустыми руками я их оставляю.

*[Примечание публикатора: Со 2 августа 1937 г. по 18 марта 1939 г. записей в дневнике нет].*

**1939. 18 марта.** Я снова в Петербурге. О том, как я жил эти полтора года, можно написать отдельную книгу. Даст Бог, когда-нибудь сделаю это. Много раз я с благодарностью вспоминал участкового Петровича за его добрый совет как можно скорее уехать из города после освобождения. Теперь уже можно назвать его, а не скрывать за буквой П. Этот замечательный человек погиб зимой от пули бандита. Светлая тебе память, Петрович!

Находясь близко от границы с Китаем, я много раз думал о том, чтобы уйти. Уже сторговался с проводником, поговорил с людьми из Кульджи.

Однажды ночью, часу в третьем, меня разбудили. В дом вошел незнакомый человек в бараньей шапке. Поздоровавшись со мной как с мусульманином, он приказал мне подниматься и следовать за ним. Я попытался узнать, кто он и откуда, но незнакомец дал понять, что не намерен отвечать на мои вопросы.

На улице нас ждал еще один человек. Тот, который приходил за мной, спросил, обучен ли я ездить верхом. Я солгал, что неуве-



ренно держусь в седле. Мне приказали сесть на круп коня позади одного из всадников, и мы двинулись в путь.

Дорога заняла несколько часов, и мы прибыли в какой-то кишлак уже на рассвете. Мои спутники практически не разговаривали между собой, лишь обменивались короткими репликами. Я понял, что оба они были сартами. Стал я догадываться, и чем они промышляют. Когда меня привели в дом к их главарю, догадка моя подтвердилась. Это были басмачи.

Зачем я им понадобился? Скоро я получил ответ на этот вопрос. Оказалось, что их мулла, древний старик, помер. Прознав, что я служил подпольным муллой у местных татар и пользовался определенным авторитетом, басмачи снарядили экспедицию, чтобы заполучить меня. Кишлак этот был подобен крепости. Попасть в него незамеченным чужак не имел никакой возможности. Дозорные могли издалека увидеть приближающихся людей и подать сигнал. Но это не заставило меня отказаться от мысли о побеге.

Однажды мне сказали, чтобы я собирался: необходимо было ехать в другой кишлак, находившийся в нескольких часах пути. Там умер один уважаемый человек, а его родные не хотели иметь дело с «красными муллами». Я, как обычно, примостился на крупе коня за спиной одного из всадников. Я понял: это шанс, мы будем далеко от штаба басмачей. Пока они узнают о моем побеге, я уже буду на приличном расстоянии.

Когда мы сделали привал, я легко разоружил одного басмача. Но другой оказался ловчее, и мне пришлось ранить его. Я отрезал от его халата кусок и перевязал рану. Затем запрыгнул на коня, и больше они меня не видели. Сердце билось от счастья. Как давно я вот так же скакал на коне, преследуемый врагами. Я знал тогда, что не погибну, потому что не выполнил еще своего обещания: отомстить за отца. А вот сейчас такой уверенности уже нет. Может, старею?

В Петербурге много перемен. В нашем доме забрали людей из двух квартир. В мечети арестовали председателя «двадцатки» и очередного муллу.

**1939. 20 марта.** Пришел человек из Большого дома. Назвался «Борисом Ивановичем». Интересовался, где я так долго пропадал. Я рассказал ему свою легенду, показал бумаги. Сказал, что и сей-

час неважно себя чувствую и думаю, не уехать ли мне опять от нашего ленинградского климата.

Спрашиваю:

— А где же Павел Иванович?

— Павел Иванович оказался врагом народа.

Анекдот! Сколько у них там в органах врагов работает. Впрочем, кто бы сомневался. Этот «Борис Иванович» вроде ничего. Лысый толстяк, в пенсне. Только одно смущает: на Берию он сильно похож. Я сказал ему об этом.

Он засмеялся.

— Есть такое. Даже у нас ко мне долго привыкали. Бывало, иду по коридору, какой-нибудь молодой сотрудник меня еще издали завидит, остановится и в струнку вытягивается. А я подойду, похлопаю его по плечу и скажу с грузинским акцентом: «Ваша фамилия?» Тот называет фамилию, а я ему: «Вас еще не расстреляли?» Бедолага от страха чуть в штаны не наложил, а я качаю головой и иду дальше.

Веселые они там.

**1939. 24 марта.** Был в мечети. Тревожно. Все спрашивали, где я столько времени пропадал? Я отвечал, что уезжал поправить здорье. Но все, похоже, понимают настоящие причины.

Райсовет не утверждает недавно прибывшего муллу в должности. А раз нет муллы — «сборища» в мечети незаконны. Как говорится, шах и мат. Добавить сюда постоянные придирки с ремонтом, и судьба мечети предрешена. Пока я сидел в ДПЗ и был в отъезде, сменилось уже два официальных муллы. Оба арестованы, и судьба их неизвестна.

Про незарегистрированных мулл и говорить нечего. После моего ареста проводить обряды согласился Ахмед-бабай. Так его через три месяца арестовали и расстреляли как японского шпиона. Потом Вали Бикбулатов его сменил. Но и он недолго проработал. Вот уж поистине, для того чтобы жить в России, нужно обладать тремя навыками: вовремя сесть, вовремя смыться и вовремя умереть.

От прежней «двадцатки» осталось одиннадцать человек. Большинство — старики, желающие только одного: чтобы их не трогали и дали спокойно дожить до смерти. Посадили самых активных — тех, кто мешал им отобрать у нас мечеть.

Мечеть закроют, если не выполним все, что предписала комиссия. На завершение ремонта самого здания мечети и флигеля при ней, а также на налоги требуется больше пятидесяти тысяч, в кассе мечети нет и десяти.

**1939. 31 марта.** Меня, даже не спросив моего мнения, выдвинули председателем «двадцатки». Я стал возражать, но Мансур сказал, что я не имею морального права отказаться. Это вроде как на фронте дезертировать: когда командир выбыл из строя, следующий по старшинству должен занять его место. Если закроют мечеть, наши дети и внуки нам этого не простят. Я сел на свое место и больше не возражал.

В конце концов, если Аллах уберег меня от неприятностей в былые дни, то навряд ли сейчас Он решит обрушить на меня Свой гнев.

Но испытания и искушения на этом не закончились. После собрания меня опять обступили наши касимовские все с той же просьбой: быть у них муллой. Я согласился.

Фатыма сказала: ничему тебя жизнь не учит. Как раз наоборот, учит. Учит тому, что пока тебя не посадили, ты должен успеть сделать как можно больше полезного. Вот формула жизни у нас в стране.

А Шварца я встречу. Обязательно. Я уже не тот, что прежде, стал каким-то травоядным животным. Видимо, и в самом деле старею. Смогу ли я покарать убийцу? Не дрогнет ли у меня рука?

**1939. 21 апреля.** Заметил, что Меджнун в последнее время намеренно держит себя со мной, как клоун. Прежде он тоже выкидывал разные фортели, но потом хотя бы снимал маску, а сейчас даже не думает перевоплощаться. По крайней мере, в моем присутствии. С чем это связано? Мне кажется дело тут в страхе. Он боится, что я сообщую о нем куда следует. Как говорится, *noblesse oblige*.

Он думает, что я ни о чем не догадываюсь. Впрочем, я ведь и сам тоже притворяюсь. Меджнун подает себя как безумца, а я прикидываюсь полуграмотным татаринком — бывшим халатником. Что ж тут поделаешь: времена такие. Все надевают маски и выдают себя за других, иначе — гибель. Впрочем, и маска не гарантирует спасения, но зато не так грустно умирать, зная, что убивают не тебя настоящего, а образ, за которым ты укрылся, как за деревом.

**1939. 2 сентября.** Бедная Польша. Сил и стойкости тебе! Пишу, а сам не верю. Гитлер, конечно, сожрет Польшу и не подавится. Об этом шуте я еще в 1923-м слышал, после того, как он пытался захватить власть. Никто не воспринимал его тогда всерьез ни в России, ни в Польше, ни в самой Германии. Кто бы мог подумать, что этот карлик, форменное ничтожество, станет во главе великой нации. А вот стал. Так нередко бывает: те, кого считают парвеню и непостоянной величиной, возносятся на вершину власти, и уже никакими силами их оттуда не скovyрнуть.

Судя по тому, что говорили по радио и писали в газетах, Сталин знал о планах Гитлера напасть на Польшу и не будет вмешиваться. Во вчерашней «Правде» огромный материал о ратификации советско-германского договора о ненападении. При таком раскладе не удивлюсь, если большевики предательски вонзят нож в спину сражающейся Польше.

**1939. 5 сентября.** В Польше идут бои. Варшава держится. 3-го Англия и Франция объявили Германии войну, но едва ли следует ожидать от них большего, чем деклараций. В Германскую войну они показали, что предпочитают воевать чужой кровью. Впрочем, если Сталин нападет на Польшу, они могут и вмешаться. Но будет уже поздно, им только и останется, что кусать локти и посылать проклятия в адрес двух заклятых друзей.

А что если Сталин с Гитлером через Риббентропа и в самом деле условились поделить Польшу, как это уже было в XVIII веке? Сталин просто молча ждет своего часа, когда немцы проглотят полагающийся им кусок, а потом он не спеша выйдет из засады и нанесет истекающей кровью Польше смертельный удар. И сил немного потратит, и сделает вид, что избавляет поляков от немцев. Нет, это слишком страшно, чтобы быть правдой.

**1939. 6 сентября.** Приходил «Борис Иванович». Я спросил его, почему мы медлим, немцы сейчас захватят Польшу, паны убегут, а рабочие и крестьяне окажутся под фашистом.

— Немцев сейчас ругать не рекомендуется, — пояснил «Борис Иванович» и поручил мне внимательнее слушать, что говорят жильцы дома о пакте Молотова-Риббентропа и о войне в Польше.

— Так вы мне самому помогите разобраться в международном положении, а то я уже совсем запутался, — сказал я. — Как же так, получается немцев теперь хвалить надо?

— Не надо. Но и ругать тоже не надо.

— Это как же?

— Тебе сложно понять, это называется марксистской диалектикой. Да уж, куда мне понять. Отцы-иезуиты сняли бы свои шляпы перед большевиками.

— Диалектика так диалектика. А что с Польшей? Как с ней быть? Неужели мы не придем на помощь польскому пролетариату?

— А что это ты, Кильдеев, так за польский пролетариат волнуешься?

— Так как же не волноваться! Вы ведь сами сказали, что в отношении Польши надо больше интересоваться. Вот я и следую вашей инструкции: интересуюсь. Вдруг спросит меня кто-нибудь: что ты, Кильдеев, думаешь про Польшу? А что мне ответить?

— Не волнуйся, Кильдеев! Когда придет время — поможем и польскому пролетариату, — заверил меня «Борис Иванович».

**1939. 10 октября.** Самые страшные догадки подтвердились. Ударили в спину. Расчетливо, подло. Мечь за разгром на Висле. Здорово мы тогда их потрепали...

Надо прекращать все эти писания. Не время. Нужно залечь на дно и не забывать, что я всего лишь бедный дворник Кильдеев. Кильдеев. Дворник.

[Примечание публикатора: С 10 октября 1939 г. по 22 июня 1941 г. записей в дневнике нет.]

**1941. 22 июня.** Война. Как «неожиданно»! Страну застали врасплох. Теперь лишь вопрос времени, через сколько немцы будут под Петербургом и Москвой. Наивен тот, кто полагает, что можно в ближайшее время остановить наступление немцев. Они последовательно готовились к войне, у нас же все делалось по ленинской формуле: шаг вперед, два шага назад. Лучшие военачальники либо уничтожены, либо сидят в лагерях. Людям два года морочили голову, что немцы нам не враги, а теперь выходит, что все-таки

враги, да еще какие враги. Гуталинщик<sup>7</sup>, похоже, на этот раз перехитрил самого себя.

За это время много чего случилось. Мечеть прошлым летом у нас все-таки отобрали. Почти двадцать лет они пытались сделать это и, наконец, добились желаемого. Я продолжаю служить муллой, хожу по квартирам.

Работа эта опаснее работы разведчика. Но сейчас не время писать об этом. Нужно думать, что делать дальше.

**1941. 5 июля.** Вчера после молитвы на кладбище подходит ко мне Ахмет:

— Ибрагим, одолжи твою метлу.

— Зачем? — спрашиваю, ничего не подозревая.

— Когда немцы придут, надо будет большевиков вымести из рода, — улыбается Ахмет, а сам смотрит, как яотреагирую.

В голове закрутилось-завертелось: что делать? Промолчать — значит, обеспечить повод для доноса. Даже если он не провокатор, а просто идиот. Кто знает, кому и сколько раз он эту шутку рассказал? Арестуют его, и он начнет называть тех, с кем вел такие беседы. Ответить? Но что? Ахмет повернулся ко мне спиной, не дождавшись ответа. Я схватил его за плечо, развернул к себе и дал по морде. Ахмет упал. К нам подбежало несколько человек.

— Что ты делаешь, Ибрагим? Ты с ума сошел. За что ты так его?

— Он знает за что, — отвечал я.

Это хорошо, что другие видели. В случае чего, подтвердят мои показания.

**1941. 8 июля.** Приходил «Анатолий Иванович». Год назад он сменил «Бориса Ивановича». У них там, видимо, отрицательный отбор. Этот вообще полный идиот. Но нам от этого только лучше. Спрашивал о настроениях. Интересовался в первую голову Меджнуном. Кто-то хорошо их информирует о нем. Впрочем, он сам хорош: много болтает. Кажется, его арестуют скоро. Так не может долго продолжаться. В военное время они такое даже от безумца не будут терпеть. Надо сказать ему.

---

<sup>7</sup> Имеется в виду И.В. Сталин (пояснение переводчика).

**1941. 10 августа.** Подошел к Меджнуну на улице. Говорю ему: «Будьте осторожны!» Он засмеялся: «Брось, Ибрагим. Говори там про меня, что нужно. Это твоя работа. Иди и делай, что задумал».

Я разозлился не на шутку. Тоже мне, Христос с Надеждинской. Сказал Меджнуну, что если бы я захотел, так его бы давно уже посадили за его болтовню. Он прикусил язык и задумался.

**1941. 16 августа.** В последнее время хлопочу об эвакуации. Уже все удалось организовать, и тут Фатыма встала на дыбы. Не хочет уезжать и все. Говорит, что Аллах нас не оставит, Он уже столько раз не давал нам пропасть. Напомнила мне про эшелон с детьми, который разбомбили немцы. Может, она и права. Договорились, что подумаем еще неделю, и потом, может, она согласится уехать с детьми.

От немцев, когда они войдут в город, ничего хорошего ждать не следует. Будь прокляты и Гитлер, и Сталин!

**1941. 23 августа.** Сегодня это все-таки произошло. Дело было так. Я вышел из своей квартиры и направился в сторону Невского. Думал зайти в магазин к Мансуру. Он хотел показать недавно купленный им персидский ковер. Вот человек: война, а он продолжает торговать своими коврами, как будто ничего не поменялось. И семью в городе оставил. Завидую таким людям!

Впереди я увидел знакомую фигуру. На нем был коричневый костюм, брюки-гольф, гетры. В руке Меджнун держал сумку. Я хотел нагнать его и сказать, чтобы он меньше болтал. После того разговора с ним пару недель назад я могу делать это без обиняков. Я ускорил шаг, но меня опередили. Два человека, которые шли за Меджнуном, вдруг обступили его справа и слева. Один из них полез в карман. Я врос в землю и, прижавшись к стене дома, стал наблюдать. Меджнун небрежно взглянул на документ, кивнул. Тогда другой, взяв по-приятельски Меджнуна под руку, продолжил с ним путь, а его коллега пошел за ними следом. Они свернули на Жуковского. Там их ждала «эмка». Все трое уселись на заднее сиденье.

Я дождался, когда машина отъедет, и бросился назад — сообщить обо всем Марине. Дверь никто не открыл. Неужели ее тоже взяли, или она куда-то ушла? В любом случае, они скоро придут, чтобы сделать обыск. И тогда Меджнуну придется навсегда рас-

прощаться с рукописями. Сейчас бумагам находят другое применение. Впереди зима.

Пару минут я стоял на лестнице и размышлял. Потом спустился к себе, взял ключи и снова позвонил в дверь восьмой квартиры. Никто не ответил. Тогда я отворил дверь. В квартире было тихо. Я постучал в комнату Меджнуна. Раздался кашель. Это старуха Екатерина Васильевна, соседка. Дочери ее, Натальи Николаевны, не было дома. Это я знал наверняка: видел, как она ушла утром. А вот старуха лежачая. Но слышит она хорошо.

Я вошел в комнату Меджнуна. Аромат злых Марининых духов перемешивался с запахом табака. В носу у меня зачесалось. Я чихнул.

— Мариночка, это ты? — прозвучал старушечий голос за стеной.

Этого еще не хватало. Что ответить? Молчать было глупо.

— Мариночка, это ты? — не унималась старуха. — Даниил Иванович?

— Да, — сказал я, не очень громко, стараясь подражать голосу Меджнуна.

— Даниил Иванович, вы не могли бы мне водички принести?

— Да, — отвечал я.

— Спасибо!

Я стал быстро осматривать комнату. На столе были разбросаны какие-то бумаги. Хозяйственные записи или что-то вроде этого. Одежда. Плакаты. Под письменным столом чемодан. Большой. Я потянул за ручку. Тяжелый. Там, наверное, рукописи. Осмотрелся кругом, заглянул в шкаф. Больше нигде ни тетрадок, ни пачек бумаги я не обнаружил. Тут мне вспомнилось, как Меджнун однажды сказал кому-то из своих друзей на лестнице: «Все, что я написал, легко уместится в чемодане».

— Даниил Иванович! — вновь прозвучал требовательный голос старухи.

Я схватил чемодан и на цыпочках вышел в коридор. Тихо, стараясь не греметь ключами, закрыл дверь. Чувствовал себя вором. Слава Аллаху, старуха лежачая и не может встать. Покинув квартиру, я столкнулся нос к носу с Комаровым из 7-й квартиры. Шайтан его принес.

— Вы что же, уезжаете, Ибрагим Шакирджанович? — спросил Комаров.

— Нет, хлам всякий выношу, — пробормотал я и поспешил вниз.



Вот люди! Пока я дворником был, все называли меня Ибрагимом и говорили «ты», а как стал управдомом — только по имени-отчеству и на «вы».

Зашел к себе и долго не мог отдышаться, словно бежал от погони. Оставлять чемодан у себя было бы непростительной глупостью. Я решил, что вечером, едва стемнеет, спрячу его в надежном месте. Подумал еще, что, возможно, лучше разбросать содержимое чемодана по разным мешкам и заодно удостовериться, что там рукописи. Я попытался открыть замок, но он не поддался. Повозился еще немного и махнул рукой: лучше не портить вещь. К тому же, удобнее тащить один чемодан, чем несколько разных сумок. Это привлечет меньше внимания. А на месте можно будет его вскрыть.

Потом пришла Рауза, дочь шурина Ибрагима, и попросила помочь ей починить примус. Я отправился к ним в квартиру, забрал примус и вернулся к себе. Я почти закончил работу, когда в дверь позвонили.

Их было трое. Одетые в штатское, все почти одного роста, с бесцветными глазами.

— Товарищ Кильдеев, пройдемте в квартиру восемь, — сказал один из них, открывая большой лягушачий рот.

За Мариной? Или обыск?

Они попросили меня позвонить. Я нажал два раза на звонок.

Дверь открыла Марина. Она не стала спрашивать, кто там. У них вообще не принято это. Сначала она увидела меня. Улыбнулась, а потом, близоруко шурясь, посмотрела на тех, кто пришел со мной. И тут я увидел в ее глазах страх, животный страх.

— Здесь проживает Хармс-Ювачев Даниил Иванович? — спросил субчик с лягушачьим ртом.

— Да, — подтвердила Марина, — только его сейчас нет дома.

— Ничего страшного, — произнес лягушачий рот, и они, оттолкнув Марину, вошли в квартиру.

Начался обыск. Марина сидела с безучастным видом в кресле, поджав под себя ноги, а эти трое хозяйничали в комнате. Я ликовал, что мне удалось спасти рукописи. Забрали немного — то, что было на поверхности: письма, записные книжки, одну фотокарточку. Когда они собрались уходить, я последовал за ними. Решил, что зайду к Марине вечером, когда разберусь с чемоданом. Хорошо, что ее не арестовали.

1941. 25 августа. Эта история заслуживает подробного рассказа. После того, как чемодан Меджнуна оказался в моих руках, я стал думать, как поступить с рукописями. Сначала думал отвезти все это на кладбище. Но, поразмыслив, пришел к выводу, что риск слишком велик. Сейчас много хоронить будут, и чемодан могут потревожить. Да и земля на кладбище не сухая, чтобы хранить в ней бумаги. Сколько им еще там придется лежать? Решил, в конце концов, что отвезу чемодан в Озерки к Х. Там надежнее. Я знаю Х. больше пятнадцати лет. Это деловой человек. Он не задает лишних вопросов.

Вечером, в день ареста Меджнуна, я не застал Марину дома. Времени оставалось мало, они могли вернуться за вещами в любой момент, как в тот раз. Если бы еще этот Комаров не видел меня с чемоданом... Нужно было немедленно спрятать рукописи.

Когда стемнело и невозможно было отличить белую нить от черной, я вышел на улицу. На трамвае доехал до Поклонной горы.

Пассажиров было немного. Двое сразу не понравились мне. Я заметил их еще на остановке. Один был в плаще и шляпе и походил на советского инженера, другой одет попроще, в рабочую куртку. Они стояли метрах в десяти от меня и курили. Вроде бы им не было до меня никакого дела, но что-то в них показалось мне подозрительным.

Я вышел на нужной мне остановке. Эти двое тоже. Я остановился, чтобы завязать шнурки. Делал я это нарочно медленно, чтобы выяснить намерения этой парочки. Они пересекли шоссе и направились к озеру. Тогда я подхватил свой чемодан и поспешил в противоположную сторону. Я выбрал длинный маршрут, чтобы запутать тех двоих, если они последуют за мной. Только убедившись, что никого вблизи нет, я направился к дому Х.

Х. уже собирался спать и был очень удивлен, увидев меня. Я сказал, что мне нужна помощь, и кивнул на чемодан.

— Что в чемодане? — спросил Х.

— Старые книги, бумаги.

— Давай поглядим, что это за бумаги, и потом решим, куда это пристроить, — сказал Х.

Мы взялись за чемодан и не без труда открыли его, несколько повредив один из замков. Когда я увидел то, что было внутри, у меня чуть глаза на лоб не полезли. Никаких бумаг. В чемодане ле-

жала мертвая старуха, облаченная в какую-то ветошь. Я посмотрел на Х. Он с ужасом и ненавистью глядел на меня.

— Ты зачем мне мертвую женщину притащил?! — зашипел Х. Он не хотел поднимать шума, чтобы не испугать домашних.

Я не знал, что ответить. Да и кто бы на моем месте нашелся, что сказать?

— Забирай ее и убирайся к черту! — приказал Х.

Нечего делать. Мы с трудом закрыли чемодан.

Я, не прощаясь с Х., вышел из дома и направился к озеру. У меня уже родилась идея бросить старуху в воду. Когда ее найдут утром, то примут за утопленницу. Пройдя метров сто, я машинально обернулся и увидел, что за мной следуют двое. Я поставил чемодан на землю и стал завязывать шнурки. Вижу: те двое тоже остановились. Это были они, мои неслучайные попутчики из трамвая!

Я поднялся, схватил чемодан и побежал. Бежать с такой ношей нелегко. Но они не должны были взять меня с чемоданом. И тут мне пришла в голову гениальная мысль. Я полез в карман, достал свой старый дворницкий свисток и дунул в него, что есть силы. Те двое опешили. А я, выдохнув, начал орать: «Помогите! Грабят!» Мои преследователи замерли в замешательстве, а я, недолго думая, схватил чемодан и снова побежал. Нырнул в густые кусты, царапая лицо и руки, и, когда вылез оттуда, в руках у меня ничего не было. Я также сорвал бороду и усы, которые неизменно надевал, когда ездил к Х. К счастью, кругом были лес и кустарник, это помогло мне оторваться от моих преследователей. Карабкаясь по горе наверх, я сначала услышал, а потом увидел подходивший трамвай. Не без удовольствия наблюдал я из окна уносившегося прочь трамвая, как те двое бежали по Выборгскому шоссе с искаженными злобой лицами. Значит, они не видели меня без чемодана. Я, как ребенок, радовался, что обвел их вокруг пальца.

Успокоившись, я стал размышлять, откуда взялись эти двое. Наверяд ли они шли за мной от моего дома. Зачем? Ведь они могли сразу арестовать меня с чемоданом у дома. Скорее, они увязались за мной на остановке. Я показался им подозрительным. Я был почти уверен, что пришел в дом Х. незамеченным. Мне тогда удалось оторваться от них. Но как же они меня выследили? К счастью, Х. не знает моего настоящего имени. Для него я — старьевщик

Ахмет, который продавал ему разные «ворованные» вещи. Так что Х. меньше всего заинтересован в том, чтобы я попал в лапы НКВД.

Я не пошел домой, а направился к старому знакомому, Ариффу. Уходя из дома с чемоданом, я предупредил Фатыму, что, возможно, заночую у друга. Поэтому не волновался за нее.

Рано утром ко мне на квартиру отправился сын Арифа. Он вернулся и сообщил, что дома все спокойно, никто меня не искал.

Когда я пришел, Фатыма сказала, что меня спрашивала Марина. Я решил сам к ней зайти. В первую очередь спросил, что с Меджнуном. Марина покачала головой и ответила, что о Меджнуне пока ничего не известно, но она будет хлопотать о свидании. Сказав это, она продолжала стоять и глядеть на меня, словно не решаясь спросить о чем-то важном. Я молчал. Наконец, она спросила, не заметил ли я, забрали они во время обыска чемодан или нет. В бумаге, которую ей оставили чекисты, делавшие обыск, чемодан не указан, значит, его не тронули. Но она излазила всю комнату и нигде не может найти его. У меня как камень с плеч упал.

Я рассказал ей историю с чемоданом, опустил мелкие подробности. Я ожидал, что она обрадуется или, напротив, накинется на меня с обвинениями, что заставил ее волноваться, но вместо этого Марина вдруг рассмеялась. Я спросил, чему она смеется.

— Ибрагим, ты, надеюсь, понял, что это не настоящая старуха была.

— Как не настоящая?

— Это кукла. Дане друзья подарок сделали — восковую куклу старухи. У него повесть есть, она так и называется: «Старуха». Им так понравилась эта история, что они решили сделать Дане сюрприз. Старуха эта как настоящая получилась. Я даже боялась ее и просила Даню закрывать ее на ночь в чемодане.

Я стоял и не знал, что сказать. И вдруг я тоже засмеялся. Так мы стояли с Мариной посреди комнаты и хохотали, как сумасшедшие.

На этом, пожалуй, я окончу свой рассказ, ибо он и без того слишком затянулся.

*Это была последняя запись в дневнике. 5 сентября 1941 года, как следует из материалов архивного уголовного дела, был выдан ордер на «арест и обыск Кильдеева Ибрагима Шакирджановича».*

P. S.

На следующей неделе я отвез тетрадку Кильдеева, а также листы с расшифрованным текстом и его переводом, в Публичную библиотеку. Но там мой дар не приняли. Прочитав перевод, хранительница — полная женщина с усами и большим чувственным ртом — сказала, что рассказ очень интересный и у автора, несомненно, большой талант, но библиотека не берет на хранение рукописи малоизвестных писателей.

— Но это же непридуманная история. Так на самом деле было! — запротестовал я.

— Ну что вы такое говорите, молодой человек, — покачала головой женщина с усами. — Очевидно, что эта рукопись — чей-то розыгрыш, шутка. Такая же кукла, которую ваш Меджнун хранил в своем чемодане. Сами посудите: дворник-татарин, который знает французский и пишет на французском. Ну, допустим даже, что это возможно. Допустим, существовал дворник-татарин, который откуда-то знал французский. Допустим, что он даже что-то писал на французском. Но объясните мне, Христа ради, зачем он шифровал все это? Ведь в его дневнике нет ничего секретного. Общеизвестные факты о Хармсе и его возлюбленных, какие-то детали повседневного быта.

— А как же убийство матроса Пономарева? Разве мог автор открыто об этом писать? Или война.

— Так он же написал в самом начале, что это всего лишь упражнения во французском.

— Но сам факт, что он, дворник, свободно владел французским, уже представлял для него опасность.

— В таком случае, что мешало ему писать свой дневник на татарском или на русском? И тогда не нужно было бы ничего зашифровывать. Или это какое-то свойство характера — скрывать? Или профессиональная привычка? Разведчики так упражняются, чтобы не утратить навык. Но он же не Штирлиц какой-нибудь.

— Не Штирлиц, — вздохнул я.

Примерно такой же разговор состоялся и в Пушкинском доме. Хранительница, по-видимому, чтобы утешить меня, сказала, что это потрясающий рассказ и его непременно нужно напечатать в толстом журнале.

Я сначала расстроился, а потом подумал: «Почему бы и нет?» — и последовал этому доброму совету.

Один экземпляр журнала с рассказом о Кильдееве я решил подарить Лидке. Всякому человеку приятно, когда о нем пишут хорошее, тем более в литературном издании, которое читают культурные люди. Но когда Лидка позвонила мне и предложила встретиться, журнал с рассказом находился еще в типографии.

— Помнишь, я говорила тебе, что мне показалась знакомой фамилия Шварц? — взволнованно начала Лидка, едва я устроился за столом.

— Помню.

— Я спросила бабушку. Действительно, фамилия ее отца была Шварц.

— Ну и что?

— Слушай дальше! Отца бабушки звали Андреем Александровичем Шварцем...

— Ну и что? Помнишь, сколько людей с таким сочетанием имени, отчества и фамилии встречалось Кильдееву? Кажется, двадцать пять, если не больше.

— «Ну и что»! — передразнила меня Лидка. — Ты дальше слушай. Знаешь, кем мой прадед работал? Следователем НКВД. Я не сразу вспомнила, потому что о прадедушке у нас в семье как-то не принято говорить. Вроде как запретная тема. Мне было непросто разговорить бабушку. Она всю жизнь стыдилась своего отца, хотя совсем не знала его: когда он погиб, ей было три года.

— Но причем здесь мой Шварц?

— Не торопись! — осадила меня Лидка. — Мой прадед был матросом. Он в Гражданскую против Юденича под Петроградом воевал. Чуешь?

Я замер.

— И что с ним дальше стало?

— Дальше он пошел на работу в органы. В 1921-м он почему-то решил сменить фамилию. Русифицировал ее, так сказать, и стал Андреем Черным.

— Так вот в чем дело, — медленно произнес я. — Теперь понятно, почему Кильдеев не мог его отыскать. А что дальше?

Я вдруг почувствовал что-то вроде обиды за прадеда. Как ловко этот мерзавец Шварц его провел. Я уже не сомневался, что этот был тот самый Шварц.

— Его убили, — эти слова Лидки заставили меня вздрогнуть.

— Кто?! — почти закричал я.

— Бабушка говорит, это случилось во время допроса. Подследственный сумел каким-то образом напасть на Шварца. Как он это сделал и кто был этот человек, я не знаю.

— Когда это было?

— В сентябре 1941-го.

Я молчал, вспоминая бледно-желтую папку архивного уголовного дела Ибрагима Кильдеева: «Начато 5 сентября 1941 г. Окончено 19 сентября 1941 г.»

— Значит, все-таки нашел, — сказал я скорее самому себе, чем Лидке.

— Что ты сказал?

— Значит, все-таки нашел, — повторил я уже громче и улыбнулся.

— Выходит, что так, — ответила Лидка и тоже почему-то улыбнулась.

